ЛАСТОЧКА-ЗВЁЗДОЧКА

Повесть

*Хомику, Сявону, ребятам моего двора,
памяти Гарика Лучина и Эдика Камерштейна*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

День четырнадцатилетия Сергея был всесемейно признан новой ступенью его домашней самостоятельности. Обязательное возвращение домой передвигалось с десяти на одиннадцать часов вечера, а велосипед, который до сих пор считался собственностью отца (отец никогда на нем не ездил), окончательно передавался Сергею. Все эти важные решения были шуточно сообщены на взрослой половине стола и торжественно оглашены на детской. Друзья Сергея целый час мыкались в ожидании ужина среди утомительно многочисленных взрослых. Разочарованные тем, что на детской половине стола не поставили вина, они пережидали речь отца Сергея с набитыми, но из вежливости переставшими жевать ртами, запили ее огромным числом стаканов чая, деловито соревнуясь, заели пирожными и вытащили Сергея во двор, где устроили ему великое осмеяние.

— Сереженька, ласточка, звездочка, — противным тонким голосом, полагая, что он подражает матери Сергея, тянул Генка-«ремесло», по прозвищу Сагеса, — уже одиннадцать часов, пора домой!

Сергей польщенно багровел. Сагесе было шестнадцать лет, выглядел он на все восемнадцать, и уже одно то, что он занимался Сергеем, укрепляло позиции Сергея во Дворе.

Двор (с большой буквы — «Двор!») был великой страной и могучим государством, о существовании которого взрослые догадывались только тогда, когда в какой-нибудь из квартир вылетало стекло или где-нибудь в подвале дворник находил опаснейшие запасы черного дымного пороха и капсулей «жевелю» к охотничьим патронам. «Чей это порох? Кто выбил стекло? — допытывались тогда в девятнадцати семейных квартирах сорокаквартирного дома на углу улицы Маркса и Синявинского проспекта. — Кто вчера ходил по крыше? Кто открыл водопроводный кран в сторожке Максима Федоровича?»

— Мекса? — переспрашивал стойкий подданный Двора. — Не знаю...

— Не Мекса, а Максима Федоровича, нашего дворника! — взвивались родители. — Два дня ни шагу во двор!

И наказанный угрюмо усаживался за кухонный стол — кухни выходили окнами во двор — делать уроки.

Вечером, едва темнело, у окон наказанных собиралось свободное население Двора.

— Сявон!

— Выходи!

— В «колдуна» будем!

Славку Иващенко наказывали чаще других — у него был очень суровый отец, которому он, однако, никогда ни в чем не уступал.

— Не могу, — не подходя к окну (подходить к окну ему было строжайше запрещено), кричал Сявон, — наказан!

— За что? — настораживались внизу.

— А я знаю! У Мекса кран потек, а я при чем?

Внизу затихали, совещаясь. Потом под команду «раз-два-три!» начинали скандировать хором:

— И-ван-Ма-тве-евич, ваш-Слав-ка-ни-при-чем!

И опять:

— И-ван-Ма-тве-евич, ваш-Слав-ка-ни-при-чем!

Ребята знали — Славкиного отца так можно только еще больше озлобить, но Двор утверждал себя сопротивлением произволу взрослых, и потому хор продолжал рывкать до тех пор, пока наверху с грохотом не разлетались половинки кухонного окна. Свет в окне заслоняла широкая фигура Ивана Матвеевича:

— А ну, вон отсюда! — говорил он.

— Три «ха-ха»! — командовала темнота осторожным голосом Сагесы.

И хор заинтересованно и нетерпеливо подхватывал:

— Ха-ха-ха!

Потом темнота начинала бляеть, мяукать, лаять. А Славкин отец кричал:

— Вы думаете, я не вижу, кто там мяукает? Я тебя прекрасно вижу! Завтра родители Смирнова и твои, Бертышев, — да-да, и твои! — узнают, чем занимаются их деточки!

— Иван Матвеевич! Смирнов — «холодно»! — начинала темнота с отцом Славки игру в жмурки. — Бертышев — «совсем холодно»!

— «Северный полюс»!

— Не попали!

Иван Матвеевич яростно захлопывал окно. Свет на кухне гас.

На минуту во дворе разочарованно затихали.

— Сейчас Славке будет, — философски замечал кто-нибудь.

— Будь здоров! — подтверждал другой.

Говорить о том, что отец бьет Сявона, ребята решались, только когда самого Славки не было во дворе. Это была очень скользкая тема.

Через два дня, однако, Славка выходил на улицу ничуть не изменившимся, с той же жаждой проказ, с той же авантюрной страстью к войне с Мексом. Правда, после каждого наказания Славка как будто едва заметно взрослел, становился чуточку отчаянней, словно изо всех сил старался доказать, что все отцовы оплеухи для него трын-трава. И еще Славка становился раз от разу хитрее, и хладнокровнее, и чуточку жестче.

На именинах он больше всех пил и ел. Иван Матвеевич считал, что сладким мальчишку можно только развратить, и потому никогда не баловал его. Теперь Сявон сидел на скамейке и, отдуваясь, тянул за Сагесой:

— А на велосипеде, деточка Сереженька, на улицу не выезжай. Там гадкие мальчишки отнимут у тебя велосипед. Там по улицам ездят автомобили и трамваи, ходят страшные милиционеры. Не выезжай, деточка Сереженька, на улицу.

2

День рождения Сергей отмечал в четверг, а в воскресенье двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года он вместе с родителями собирался к отцовой сестре на традиционный воскресный обед. Почти все семейные традиции казались Сергею обременительными, но эта нравилась ему. У тетки вкусно кормили, за столом у нее собиралось много любителей поспорить о последних новостях международной политики, а главное — у двоюродного брата Сергея, уже отслужившего в армии взрослого парня, можно было добыть книжку, которую ни за что не выдадут в детской библиотеке. На книжной полке брата подряд стояли романы Киплинга, «взрослое» издание «Тили Уленшпигеля», «взрослый» же — это и по иллюстрациям видно! — Джонатан Свифт и совершенно потрясающий трехтомный Брем. С некоторых пор Сергею эти книги разрешали брать и тут же, у книжной полки, рассматривать.

Задолго до конца обеда, скороговоркой пробормотав: «Спасибояуженехочу», — Сергей выскальзывал из-за стола, садился на диван и придавливал свои колени тяжелым томом Брема. Вначале он раскрывал переплет и нюхал, как тревожно тянет от него глянцевым типографским запахом, долго рассматривал рельефную карту мира, на которой материка были испещрены не кружочками городов, а крошечными изображениями страусов, слонов и носорогов, и лишь потом, разломив книгу пополам

(плотно пригнанные друг к другу страницы глухо пыхнут, от них пойдет ветер), погружался в созерцание оранжевых проложенных хрустящей папиросной бумагой фотографий львов, бенгальских и уссурийских тигров, южноамериканских ягуаров и кугуаров. Сергей именно погружался в созерцание, потому что картинки эти и подписи к ним он видел уже десятки раз и прекрасно знал, что длина королевского тигра от кончика носа до кончика хвоста — четыре метра двадцать сантиметров (раздвинуть обеденный стол и приставить к нему два стула).

Все это он знал, но так приятно было, сидя на диване, тихо ужасаться размерам огромного животного или даже считать эти размеры недостаточно устрашающими и каждый раз, заново открывая знакомую страницу, ожидать, что тигру немного прибавится длины.

Налюбовавшись хищными кошками, Сергей читал что-нибудь о голубых китах или о кашалотах и прислушивался к тому, о чем спорили за столом. А за столом обязательно спорили, и это делало Брема, «Тиля Уленшпигеля» или «Гулливера у великанов» еще более увлекательными и интересными.

Спорщики обычно делились на два лагеря, которые возглавляли отец Сергея и дядя Ефим. Оба они были людьми крайних мнений, крайних темпераментов и просто не выносили друг друга.

Отец Сергея был на редкость правильный человек. Настолько правильный, что Сергею ни разу в жизни не удалось достигнуть уровня, который чем-нибудь не оскорблял отца. Отца оскорбляло слишком многое — плохо завязанный галстук, пятно на рубашке, царапина на колене, четверка, а не пятерка в дневнике. Он как-то сразу, мучительно крупным планом видел все это и долго переживал. И плохо завязанный галстук и испачканную рубашку он как-то умел связать с чем-то большим... Сам он был безупречно аккуратен и бережлив, никогда не опаздывал на работу, ежедневно читал не меньше трех газет — одну областную и две центральные — и каждому слову, напечатанному в них, верил самозабвенно. Он все видел глазами газет, вместе с ними ненавидел и радовался и даже говорить старался языком газет.

Сергей тоже верил всему, что печаталось в газетах, хотя сам читал их очень редко, тоже старался при случае щегольнуть газетной фразой, но ему всегда становилось неудобно, когда за обеденным столом отец вдруг начинал:

— Вы читали, что делают эти уж поистине («уж поистине» отец вставлял от себя) империалистические хищники, наши уважаемые друзья-враги господ англичане? Таскают из огня каштаны чужими руками.

Последнее время отец особенно яростно поносил англичан.

Отцу отвечал дядя Ефим. Сухонький, маленький, подвижной, в шестьдесят лет ходивший на охоту и бесстрашно ночевавший на земле, никогда не улыбающийся, — казалось, его постоянно терзают воспоминания о какой-то тяжелой утрате, — Ефим звонко и выразительно стучал себя пальцем по лбу.

— Го-ло-ва, — подчеркивая каждый слог, назидательно произносил он, — человеку дается, чтобы думать са-мо-му! Так я говорю? — И он обводил всех требовательно-вопросительным взглядом, под тяжестью которого всем — особенно ежилась тихая, уступчивая тетка — становилось неуютно. — А мы, — кивок в сторону отца Сергея, — вчера плевали на немецких фашистов, а сегодня у нас с ними договор, и мы предаем анафеме англичан. — Ефим разводил руками и вдруг выстреливал, пугая Сергея, резкое и угрожающее: — Ну?!

— Тише, Ефим Иванович, пожалуйста, тише! — пугалась тетка, и Сергей замирал, ожидая услышать что-то особенное, о чем так запросто на уроке или на улице не услышишь.

Но в этот момент двоюродный брат подмигивал ему. Женя никогда не принимал участия в споре, он только улыбался на особенно едкие замечания Ефима и тотчас подмигивал Сергею. И Сергею эти подмигивания были необычайно приятны: они говорили ему, что его взрослый, умный и начитанный брат куда ближе к нему, чем к этим уже явно стареющим спорщикам.

Женя никогда не досаживал до конца обеда. Вызывая восхищение Сергея своей мужественностью, он отказывался от сладкого. «Мама, — мягко останавливал он всегда обеспокоенную качеством своей стряпни Сергееву тетку, — все в порядке. Вкусно. Но ты же знаешь, я этого не ем». И уходил на тренировку. Летом — на реку, зимой — на каток. Женя был разносторонним спортсменом — он входил в десятку

лучших байдарочников Союза, а на городских и областных соревнованиях по необходимости выступал от своего завода и как боксер, и как бегун, и как фехтовальщик.

Брат уходил, а Сергей опять садился на диван и снова погружался в полный тайны и опасности, гремящий папиросной бумагой прокладок, пахнувший типографской краской мир Брема или в потрясающие приключения Гулливера...

Когда Сергей, протерев мягкой тряпочкой кожаное седло и черные лакированные трубки рамы, выводил велосипед из квартиры, мама придержала дверь. На лестнице велосипед упруго подпрыгивал, отсчитывая каждую ступеньку мелодичным позвякиванием никелированного звонка. Велосипеду, как и Сергею, хотелось скорее на улицу, и он изо всех сил тянул своего хозяина вниз.

Во дворе, став на одну педаль, Сергей объехал вокруг большой цветочной клумбы и направился к подворотне.

В подворотне он столкнулся с Сагесой.

— Прокачусь? — сказал Сагеса, властно положив свою темную руку мастерового на руль.

— Не-е... — смутился Сергей, оттого что ему приходилось отказывать Сагесе.

— Жалеешь?

— Когда это было? — растерялся Сергей.

Его всегда повергала в трепет Генкина манера величественно произносить самые обыкновенные слова.

— А почему?

— С родителями еду.

— А! — сказал Сагеса и отпустил руль.

Все-таки при солнечном свете законы дворового братства действовали с меньшей силой, чем вечером.

— Вечером приеду — тогда, — пообещал Сергей.

— Э! — зевнул Сагеса. — Славку не видел? С кем бы на реку сходить?

Сагесе было скучно. Тяжелый день воскресенье — все родители дома, никого во двор не дозовешься. Да и звать не очень-то удобно: крикнешь, а из окна выглянет грозный папаша.

— Слышь, — говорит Сагеса, — покричи Сявону, а то я что-то охрип.

Сергей понимает — Сагеса ловчит, но послушно складывает ладони рупором.

— Сявон! — вполголоса кричит Сергей, а Сагеса поспешно отступает в тень.

В это время из подъезда выходят отец и мать Сергея.

— Ну, будь здоров, — говорит Сергей Сагесе с некоторым облегчением.

— Будь, — кивает Сагеса и, дождавшись, когда отец и мать Сергея подошли поближе, сгибается в преувеличенно вежливом поклоне. — Здравствуйте, Александр Игоревич, здравствуйте, Зинаида Алексеевна!

Все взрослые во дворе считали Сагесу исключительно воспитанным молодым человеком, и он изо всех сил зачем-то поддерживал эту репутацию. Впрочем, Сагеса года на два был старше большинства своих товарищей и уже задумывался над вопросами, которые сверстникам Сергея еще не приходили в голову. Школьная учеба ему не очень давалась, ремесленное училище, в котором он пробыл год, не понравилось. Дисциплины много. Теперь он примеривался, куда бы поступить на работу.

— Здравствуйте, Геннадий, — кивнул отец. Всем приятелям Сергея, даже самым младшим, он упорно, несмотря на протесты Сергея, говорил «вы».

Сергей поморщился. Он знал, в какое глупое положение ставит себя отец, говоря Сагесе «вы».

— Па, — сказал он, когда они вышли на улицу, — никто не говорит Сагесе «вы».

— Почему? — поднял брови отец. — Разве он плохой юноша?

— Такой воспитанный молодой человек! — подтвердила мать.

— Да нет, — сказал Сергей, — Сагеса мировой. Просто не говорят.

Отец остановился.

— Я тебя уже не в первый раз прошу: никаких бандитских словечек! Мы ведь уже договаривались с тобой...

Сергей вздохнул. Никогда ему не удавалось довести до конца разговор с отцом. Какое-нибудь «мировой» обязательно отвлекало отца от мысли, которую Сергей считал главной. Кроме того, одной фразы, чтобы сделать замечание, отцу никогда не хватало. Начинал он вроде с пустяков и вроде бы спокойно, но, развивая свою мысль, постепенно воспламенялся и кончал — никак не мог кончить! — гневным обличением.

Но на этот раз нотация не состоялась. Подходил троллейбус, и мать, разряжая обстановку, потянула отца за рукав.

— Смотри, будь внимателен, — сказала она Сергею, — не торопись. Мы с отцом подождем тебя на остановке. На Братском.

«Подождем»! — это как раз и не входило в план Сергея, Сергей собирался выехать раньше, чем отец с матерью сядут в троллейбус, и первым прикатить к тетке. Женя, конечно, оценил бы его спортивный подвиг, а Сергей сказал бы только: «Просто это очень удобно. В городских условиях велосипед — прекрасный вид транспорта!»

Стычка с отцом испортила все дело. Теперь надо было изо всех сил спешить. Сергей погнался, поднявшись на педалях. Но уже через два квартала огромная, туполобая, пахнущая разогретой резиной машина, обдав его пыльным порывом горячего ветра, заставила прижаться к тротуару. А дальше, как в дурном сне, Сергей потерял власть и над событиями и над скоростью, которую ему же самому удалось выжать из собственного велосипеда.

На перекрестках тонкие цепочки людей протягивались между ним и троллейбусом. Сергей оглушительно звонил, но люди не очень боялись мальчишку-велосипедиста и шарахались, только поняв, что иначе столкновение неизбежно.

Страшное случилось, когда Сергей уже перестал бояться его. Вот так с ним и бывало — несчастье накатывалось, когда он становился совершенно беззащитен перед ним. Сергей не успел ни затормозить, ни отвернуть в сторону, ни предупреждающе вскрикнуть, он только как-то отчаянно ярко — уже ничего не изменить! — увидел смеющуюся мордашку пятилетнего пацана — кто-то, балуясь, гнался за мальчишкой, — почувствовал удар куда-то в заднее колесо, услышал крик, вильнул в сторону и со всего маха упал на горячий наждак асфальта. И сразу же его захлестнула болезненная волна жалости и раскаяния, в которой почему-то подробно промелькнуло и то, как он протирал тряпочкой велосипед, и как спускал его по лестнице, а он позвякивал, и как разговаривал с Сагесой и повздорил с отцом, и как неотвратно увидел перед собой освещенное радостным азартом пацаньяче лицо. У Сергея были порваны брюки, разбита коленка, содрана кожа на руках, но он почти не чувствовал боли, когда покорно поднимался с земли. Сергей знал — он видел много раз, как это бывает, — сейчас соберется толпа, его окружат разгневанные, ненавидящие всяких велосипедистов, мотоциклистов и шоферов пешеходы, потом придет милиционер и поведет его в ближайшее отделение милиции. И все на улице вдруг станет чужим и враждебным, потому что никто не посмотрит на Сергея с сочувствием.

Люди и правда собрались, но было их совсем немного, и задерживались они там, где стоял — слава богу, уже стоял! — мальчишка с разбитым в кровь носом, в перепачканном костюмчике. От испуга и неожиданности он даже не плакал. Какой-то большой дядька, наверно, тот самый, от которого мальчишка убегал, сидел перед ним на корточках и торопливо и осторожно промокал платком его губы, нос и щечки.

И опять болезненная волна жалости захлестнула Сергея. Он поднял велосипед и, не выпрямляя свернувшийся на сторону руль, с которого тоже была содрана никелевая кожа, побрел туда, где его обязательно ждала заслуженная расплата. Но, может, оттого, что Сергей не спешил, люди к его приходу совсем разошлись, а дядька, обтиравший малышу щечки, подхватил мальчишку на руки и быстро зашагал по тротуару.

— Чего ждешь? — враждебно и презрительно сказал Сергею парень лет шестнадцати, — широченные брюки напущены на смятые в гармошку сапоги. — Не слышал, что ли? Война! Садись на свои колеса и жми!

Сергей не понял, он помедлил еще. На виду у всех выправил руль — давал справедливости время свершить свой суд — и побрел своей дорогой. Его никто не останавливал, не окликал. Проходим не было до него никакого дела, и Сергей сел на велосипед. Он был свободен и мог бы подумать о том, что сказать отцу и матери, которые ждали его на Братском, но он думал о пацане.

Сергей думал, что, пожалуй, не так уж виноват. Мальчишка бежал, обернувшись назад. Дело было за перекрестком, и ударился пацан не о переднее, а о заднее колесо. Все это примерно объясняло, почему Сергею дали уйти, но нисколько не притупляло жалости и раскаяния, которые пронизывали его.

Эта жалостливость, которую он знал за собой и не любил (Сергей считал, что это мать испортила его в детстве своей необузданной ласковостью), была чувством хлопотливым, толкавшим Сергея на ссоры с ребятами, озорными, ловкими драчунами.

Сергей был влюблен в бешеную энергию школьных перемен, когда в коридорах, на лестницах, во дворе все самозабвенно несется, прыгает, ломится так, что кажется — поток этот не остановить, если даже поперек него выставить запруду из учителей, когда даже директор, проходящий по коридору, оставляет после себя лишь крохотные островки нестойкого затишья. Сергей тоже прыгал, тоже ломился и несся куда-то вперед, пока не замечал, что Гришка Кудюков и Игорь Катышев — оба второгодники — погнались за Абой Френкелем. Донимать Абу Френкеля, маленького «чичу-очкарика», было любимым развлечением Кудюкова и Катышева. Они не были мучителями-эгоистами. Они устраивали «цирк», стремясь честно заработать популярность и развеселить и рассмешить все общество. И они вызывали смех. Они заставляли смеяться и Сергея. И он смеялся до тех пор, пока ласковые слова, которыми его в детстве переполнили до отказа, не подступали к горлу, не заставляли бросаться с кулаками на Гришку и Игоря. Понятно, что ему далеко не всегда удавалось выйти целым из такой потасовки...

Теперь Сергей не спешил. Надо было придумать, что сказать отцу. Что скажет отец ему, Сергей знал заранее.

«Отец тебя предупреждал, — скажет отец, — отец каждый день тебе твердит: надо быть внимательным. У отца (разговаривая с Сергеем, он всегда именуется в отвлеченно-торжественном третьем лице) больные нервы! (Поди пойми, что это такое!) Отец ночи не спит!» И так далее, и все в таком же духе. Будто главная причина, из-за которой Сергей не должен был сбивать пацана, — это то, что у отца больные нервы. И будто без нотаций Сергей сам не почувствует, как больно было мальчишке и как плохо то, что Сергей сбил его.

Можно, конечно, отцу ничего не говорить. Но разорванные брюки, но испачканная рубашка! Это все равно как-то надо объяснять.

Вот и Братский переулок. На троллейбусной остановке ни отца, ни матери. Не дождались! Теперь обязательно допрашивать будут с пристрастием. Где задержался?

В расчерченной мелом на «классики» подворотне теткиного дома Сергей столкнулся с двоюродным братом. Женя спешил.

— Война, — сказал он, — слышал уже?

Сергей не понял:

— Какая война?

— С Германией. Германия на нас напала. По радио второй раз передают.

— Женя, — сказал Сергей, — я только что сбил пацана, сам упал и брюки порвал.

Что мне теперь будет?

— Э-э! — непонятно сказал Женя, махнул рукой и прошел мимо Сергея на улицу.

— Ты куда, Женя? — крикнул Сергей.

— На завод!

— Но сегодня же выходной!

Женя даже не обернулся.

Велосипед Сергей оставил во дворе. Долго чистил брюки, хитро сколол прореху тонкой медной проволокой, еще выше подкатал рукава рубашки и наконец вошел в комнату. Здесь все было как обычно — диван, обеденный стол, Женина книжная полка. Только тетка, Ефим, мать необыкновенно возбуждены. Отец, засунув руки глубоко в карманы, шагал от стены к стене и без мотива, но напористо напевал: «Шумел-горел пожар московский, дым ра-асстился по реке...»

На Сергея он едва обратил внимание.

— Ну как, Аника-воин, — сказал он ему, — кажется, упал? Вижу, вижу! Надеюсь, не плакал? Ну, молодец, молодец... — И продолжал шагать. — «На высотах стены-ы Кремлевской стоял он в сером сюртуке...»

Повороты у стены отец делал пружинно, четко, словно по армейской команде «кругом». Отец воевал в первую империалистическую, был контужен и считался по

болезни лишь «ограниченно годным». Но он давно говорил, что, если грянет война, он обязательно пойдет добровольцем, и теперь, должно быть, его подмывало воинственное настроение.

За столом, — обедать собрались поздно, тетка ждала, вот-вот вернется Женя, — отец говорил:

— Я стреляный воробей, знаю, что такое война, — он притронулся к плечу, где, как всем было известно, имелся пулевой шрам, — я далек от шапкозакидательских настроений. Но, уверяю вас, враг скоро будет каяться! Жестоко будет каяться! Он почувствует силу нашего оружия! Ведь кто составляет основу нашей армии? Такие солдаты, как Женя! — Он кивнул в сторону пустого Жениного стула. Тетка вздрогнула и побледнела. — Ведь это грамотнейший математик, механик, умница, превосходный спортсмен. Я же помню, какие письма слал командир части, в которой Женя служил, сестре. Так ведь, сестра?

Тетка еще больше побледнела.

— И что ты заладил: «Женя, Женя!» — сказал Ефим, не поднимая глаз от тарелки. — Дался тебе Женя! Я тоже не одну войну на своем веку видел: и японскую, и германскую, и гражданскую. — Ефим зло, словно отец был виновником всех этих войн, посмотрел на него. — И знаешь, кому хуже всех бывает на войне? Нет, не нам с тобой! И даже не бабам, а таким вот, — и Ефим ткнул пальцем в сторону Сергея. — Им!

— Почему? — недовольно спросил отец. Из педагогических соображений он вообще не любил, когда Сергея где-либо «выпячивали».

— Им терпеть! И что ты за человек, не понимаю: вчера хвалил немцев, ругал англичан, сегодня немцы у тебя опять фашисты.

И отец ответил Ефиму:

— Но они же коварно нарушили договор!

Обед был так же вкусен и обилен, как всегда. Правда, пустовало место Жени за столом, а Брем и Свифт утратили что-то из своего обаяния, и отцу больше никто не возражал. Но, в общем, война в тот день не очень испугала Сергея (и даже, страшно сказать, обрадовала!). Во-первых, так удачно обошлась эта история с велосипедом, а во-вторых, Сергею три дня тому назад исполнилось четырнадцать лет, и он, как никто другой, свято верил, что уж если завтра война, если завтра в поход, то плохо придется кому угодно, только не нам.

3

Следующие дни были наполнены страстным, напряженным ожиданием — вот-вот немцы полностью израсходуют подлое преимущество своего удара врасплох, наши войска перегруппируются и начнут по-настоящему бить фашистов. И чем больше разочаровывали сводки в последних известиях, тем напряженнее и страстнее становилось это ожидание.

Удивляло только: как немцы вообще рискнули напасть на нас, уж не сумасшедшие ли они? Было что-то тревожное в самом этом вопросе, что-то непонятное. Ведь все-таки не сумасшедшие же они?

Очень популярным человеком во дворе в эти дни стал Миша Чекин, больше известный под именами Мика, Хомик и Хомчишка. Миша, тихий и немного флегматичный, относился к числу законопослушных. То есть почти никогда не принимал добровольного и тем более активного участия в войне с Мексом, не стрелял из рогатки в прохожих, не бил электрических уличных фонарей. Он никогда не убегал (не «срывался», не «рвал когти»), если вдруг дворник Максим Федорович, вооружившись метлой, бросался догонять нашкодивших пацанов. И Мекс никогда не трогал его — он знал: Мика Чекин не чета Славке Иващенко, Мика не повинен в том, что где-то на втором этаже футбольный мяч сшиб с подоконника кастрюлю с припасами, выставленными «на воздух». Во многих семейных квартирах Хомика часто ставили в пример. И все это ребята ему прощали. Хомика не дразнили, не «подтыривали», как других тихонь. В сущности, мальчишки были очень широкими людьми. Они многое учитывали, когда оценивали человека.

Прекрасно, например, было известно, что Хомик с детских лет воспитывался не у мамы с папай, которые часто ссорятся, расходятся и опять сходятся, переезжают с квартиры на квартиру, меняют место работы, а у бабушки с дедушкой, которых Миша

называл не «баба» и «дед», а «мамания» и «папаня». Было известно также, что «мамания» — суровая, аккуратная, словно в щелочной воде вываренная старуха — железная домоправительница, что в квартире у Хомика люди свободно чувствуют себя только на кухне, если при этом, конечно, они не слепнут от блеска надраенных кастрюль. В двух других комнатах ни пыли, ни жизни, ни воздуха. Там — угрюмая безупречность паркета, отпугивающая крахмальная белизна занавесок, салфеток и чехлов, бесполезная неподвижность раз и навсегда расставленных стульев. В этих комнатах бывали немногие приятели Хомика. Выходили они оттуда подавленными и выносили самое искреннее сочувствие к Хомику.

— Нет, — говорил Сявон и ошеломленно крутил головой. — Вот так «мамания»!

И добавлял:

— А дед у тебя ничего. Тихий.

Поэтому-то, когда Хомика звали домой, ребята сразу же и без протестов прерывали игру, поэтому-то, когда затевалась рискованная операция и на общем совете Двора намечались ее исполнители, Хомик получал безусловный и вполне уважительный отвод.

— Хомику нельзя, — говорил кто-нибудь. — Не дай бог, узнает «мамания». Человеку жизни не будет.

Но, разумеется, на одном сочувствии далеко не уедешь. Чтобы человека уважали, он должен что-то уметь. Бездарностей, особенно тихих бездарностей, во дворе не терпели. И Хомик умел. У него были способности, вполне соответствующие его спокойному, флегматичному темпераменту, — способности коллекционера. Он коллекционировал марки, коллекционировал конфетные обертки, старинные и иностранные монеты, а главное — упорно собирал силуэты самолетов различных систем и типов. И вот теперь этой частью коллекции Хомика заинтересовались все. Толстые альбомы «Для рисования» с наклеенными на каждом листе газетными или журнальными фотографиями «мессершмиттов», «фокке-вульффов», «спитфайеров», «ишаков» внимательно рассматривались, достоинства немецких машин придиричиво сопоставлялись с достоинствами наших истребителей и бомбардировщиков.

Силуэты наших самолетов можно было изучать и в натуре. Бочкообразные «ишаки» каждое утро устраивали в небе над городом шумную, показательно грозную карусель.

— Маневренные машины, — глядя в небо, сообщал Сявон. — Мне один летчик говорил.

— Какой летчик? — с понятной в его возрасте нетактичностью пробовал уточнить десятилетний Толька Сопливый, лишь недавно переименованный из уважения к возрасту в Тольку Шкета.

— Много будешь знать — скоро состаришься, — при общем сочувственном молчании отвечал ему Сявон.

— А почему они летают кругом? — спрашивал Толька.

— А как же им еще летать? — снисходительно бросал Сявон. — В разные стороны? Ты когда-нибудь видел, чтобы солдаты шли в разные стороны?

Сравнение ничего не объясняло, и Толька смутно чувствовал это. Но, во-первых, он действительно никогда не видел, чтобы солдаты ходили не строем, а в разные стороны, и никто этого не видел, а во-вторых, Толька уже знал, как бывает опасно лезть с вопросами, которые неприятны старшим, и потому замолкал.

Но уже через минуту он спрашивал опять:

— А если немцы прилетят, наши их собьют?

На такой вопрос даже отвечать было неприлично. Тольке давали увесистый подзатыльник.

— Спрашиваешь, дурак! — говорили ему.

И кто-нибудь, вспоминая старое, обидное Толькино прозвище, добавлял:

— Сопливый!

Но немцы прилетели, и никто их не сбил.

Это произошло во второе с начала войны воскресенье. Был бестеневой, жаркий день. На главной улице города, которой обилие военной формы пока придавало лишь подтянуто-бравый, призывно-походный вид, на центральной площади Ленина было тесно от празднично одетых людей. Должно быть, все эти люди, как и ребята из

Сергеева двора, еще не очень верили в войну; должно быть, у них, как у ребят из Сергеева двора, было еще довоенное представление о войне. Во всяком случае, они не насторожились, когда низко над жестяно завибрировавшими крышами раздался рев чужих авиационных моторов, не легли на асфальт, не попытались укрыться хотя бы в подворотнях, когда к реву авиационных моторов прибавился бомбовый вой.

Бомбы взорвались как раз в центре гуляющей толпы, и город, который лежал за много сотен километров и от границы и от фронта, понес первые потери. Эти потери были так неожиданно, так ошеломляюще велики, что городская администрация не столько испугалась, сколько словно смутилась их. Убитые на улицах города — это казалось чем-то вроде разглашения государственной тайны. Место, где упали бомбы, сразу же оцепила милиция, раненых и убитых вывезли в закрытых машинах, воронки тотчас заделали, асфальт присыпали песком и только тогда опять пустили на площадь прохожих.

Сергей с ребятами был в числе тех, кто первым пришел посмотреть на место, где рвались бомбы и лежали убитые.

На площади уже все было тщательно прибрано, подметено, присыпано никем не затоптанным песком, и мальчишки еще не смогли услышать голос войны. Они и не были готовы к этому. Беда еще по-настоящему не заговорила с ними своим языком. Потрясло лишь ощущение хрупкости жизни, ее незащищенности перед темной и жестокой силой. Будто Сергею рассказали о нелепой и кровавой автомобильной катастрофе или о железнодорожном крушении. Ехали себе люди, спали, ели — и вот на тебе...

Вечером после первого налета ребята собрались во дворе переживать первую бомбежку.

И опять самый младший бесстрашно замахивался своими дурацкими вопросами на священные для ребят легенды.

— А где же были наши? — спрашивал Толька Шкет. — Целый день ревели-ревели. Все небо проревели. А когда немцы прилетели, хоть бы один поднялся.

— Заткнись ты! — сказал Сявон.

— Не болтай, если не понимаешь, — сказал Сагеса.

Ребята долго молчали.

— Может, и не узнали, что немцы, — почему-то виновато предположил Сагеса. — В первый же раз.

Но ни самого Сагесу, ни других такое предположение не устраивало.

Сергея мучила память о черной тени, перемахнувшей через их дом, — немцы, сбросив бомбы, еще снизились и дали по городу несколько пулеметных очередей.

— Они же стреляли из пулеметов, сволочи! — сказал он.

— Вот увидишь, — пообещал Сагеса, — в следующий раз наши приготовятся.

И к страстному ожиданию ребят, когда же наши наконец начнут бить немцев на фронте, прибавилось страстное ожидание увидеть, как немцы опять прилетят бомбить город и как их тут обязательно сожгут.

4

И немцы прилетели еще раз. Ночью Сергея разбудила мать:

— Вставай, Сережик. Там что-то страшное делается.

Сергей вскочил и почувствовал, как в комнате тяжело сдвинулся воздух. Это не было порывом ветра, поднимающим занавеску над окном, сбрасывающим со стола бумаги. Воздух сдвинулся всей массой, упруго надавил на стены и медленно отхлынул назад. Потом воздушный прилив повторился, и где-то далеко дважды глухо ударило.

Сергей подбежал к окну.

Напротив была видна гладкая, без окон, стена соседнего дома, сплошь, под самую крышу увитая диким виноградом. Этот поставленный на попа целый гектар дикого винограда, эта зеленая стена были гордостью Мекса и еще нескольких цветоводов-энтузиастов, живших в Сергеевом доме. Метрах в семи от винограда тянулся невысокий аккуратный заборчик — граница очерченных взрослыми детских владений. За этим заборчиком небольшой палисадничек, спортивная площадка с высоченной трапецией, турником, песочной коробкой для прыжков. Сейчас их не видно — во дворе затаенно темно. И во всем городе затаенно темно. Подсвеченные

неяркой луной скаты крыш накрывали обезлюдевшие дома. Темно и в небе. Ни один прожектор не искал в нем того, кто так нагло заявлял о своем присутствии в воздухе.

Этот кто-то был могуществен и настойчив. Это его злая воля заставила огромный город прижаться к земле.

Наверно, летчики двух «юнкеров» были горды. Они знали, что бомбы, которые они сбросили, не могли причинить заметного ущерба этому большому тыловому городу. Но у них была другая цель: они громом своих моторов, взрывами бомб летели возвестить русским неумолимую волю великой Германии, летели заразить их страхом.

И если говорить о рекламной стороне дела, то она экипажам «юнкеров» вполне удалась. Части ПВО, проворонившие налет, наконец очнулись, в небо взметнулись и слепо зашарили в нем ватные руки прожекторов, в звонкой пустоте стали лопаться зенитные снаряды. Упругие, яростно немые комки огня рвали наверху темноту, ее просвечивали фейерверочные трассирующие пунктиры. Но темноты было слишком много, и она тотчас смыкалась опять.

И вдруг — весь город, мгновенно забывший о страхе, это увидел! — в столбе прожектора обнаженно сверкнул железный медлительный комар. Прожекторист, не рассчитывавший на такую удачу, протянул свой луч дальше, но мгновенно опомнился и вернулся назад; к нему на помощь метнулся еще один луч, потом еще... И все увидели — летел не комар. Сергей навсегда запомнил силуэт этой машины — злое животное, вобравшее от страха голову в плечи.

Но только минуту Сергею, да и другим казалось, что «юнкерс» от страха втянул голову в плечи. Десятки трасс, торопливо, излишне торопливо потянувшихся с земли к самолету, десятки взрывов, суматошно забушевавших вокруг него, словно не мешали его спокойному, медлительному движению. Тысячи людей сейчас напряжением своей воли помогали зенитчикам: «Ну же, братцы!» Сергей даже стонал.

Но вот у него родилось дурное предчувствие...

Как будто вытягиваясь на цыпочках, прожектористы старались подольше удержать самолет в своем луче. Но погас один прожектор, другой, кулак прожекторов разжался.

5

На этот раз бомбы взорвались в Железнодорожном районе города. Расположенный на холме, железнодорожный поселок хорошо виден с тротуаров центральной улицы. Маленькие белые, синие, красные домики по крутым переулкам взбираются к вершине холма, где скально возвышается массив серых многоэтажных домов-новостроек. Это самое высокое место в городе. Сергею, никогда не бывавшему за полотном железной дороги, железнодорожные дома-новостройки с радиоантеннами на крышах казались старинным могучим замком, а иногда медлительным океанским кораблем, неторопливо и осторожно плывущим в редком утреннем тумане. На них хорошо было смотреть, замечтавшись...

Утром под окном Сергеевой квартиры раздался призывный свист.

— Давай скорей! — крикнул Сявон, когда Сергей подошел к окну.

— Сейчас! — ответил Сергей. По Славкиному нетерпению он понял — произошло что-то чрезвычайное.

Сергей выбежал во двор, на ходу разламывая кусок хлеба. Сявон (он был уже умыт, короткий и редковатый чубчик его лежал аккуратно, только что расчесанный специально увлажненной расческой) взял половину, и они побежали за ворота. Теперь выбегать по утрам за ворота было делом не совсем обыкновенным. Ночью город пустел, но не засыпал, ночью он острее чувствовал опасность. По его асфальтовым тротуарам, булыжным мостовым ночью не ездили, не ходили, не гуляли — все эти глаголы мирного времени сохраняли свою силу только днем. С вечера же, после недавно объявленного комендантского часа, по улицам патрулировали милиционеры и солдаты войск НКВД. С вечера в улицы города тишиной вливалась угроза, входила война, и дежурные в десятках дворов, на крышах домов чутко прислушивались к ней. С рассветом война уходила из города, отступала под напором будничной суеты, но улицы, сам асфальт долго хранили память о ночной тишине. И первые шаги, первый топот женских каблуков звучал под окнами немного вопрошающе: «А не рано ли еще? Не слишком ли дерзко, что я уже вышла на улицу?»

Сергей очень остро чувствовал эту бессонную ночную тишину. И сейчас он с особым ощущением прислушивался к тому, как отдавался в уличных подворотнях топот его и Славкиных ног, присматривался к неестественной асфальтовой нетронутости и чистоте, к тому, как медленно и лениво, словно еще не вспугнутый троллейбусами и автобусами, стелется над проезжей частью синеватый туман.

— Отец отпустил? — спросил Славка.

— Нет, — отрицательно качнул головой Сергей, — отец не приходил ночью.

— На работе?

— Ага.

— А моего мобилизуют. Вчера повестку получил.

— С матерью остаешься?

— С матерью и Сонькой.

(Сонька — трехлетняя сестренка Сявона.)

— Целую ночь с матерью прошептались. Мать плачет, а отец бу-бу-бу да бу-бу.

— Жалеет вас?

— Мать и Соньку. Он Соньку знаешь как любит!

— А тебя?

Сявон пожал плечами.

— Соньку он особенно любит. Я вчера взял из сахарницы два куска сахара, так он мне говорит: «Ты по довоенным нормам живешь!» А Сонька перекинула всю сахарницу в тарелку, помешала ложкой и говорит: «Мама, каша стала такая вкусная, что ее есть нельзя». Мать ахнула — и ну ее крыть. А отец как цыкнет на мать: «Не видишь, — говорит, — ребенок!»

Они миновали сквер и вышли на центральную улицу.

Центральная улица была самой старой и в то же время самой новой улицей города. Несколько сот лет назад она была просто пыльной степной дорогой. Потом здесь, на месте небольшого поселения, по царскому повелению воздвигли крепость — опору против турок и татар, и крошечная часть степного пути стала улицей. Об этом ребятам говорили на уроках истории. Но история — это так давно, что и представить себе не очень-то можно, а вот за последние лет шесть, уже на памяти ребят, с главной улицы убрали трамвайные рельсы, залили ее асфальтом и натянули над ней тонкую сетку троллейбусных проводов, а на месте пустырей или развалин времен гражданской войны разбили скверы, настроили новые дома.

— Наш город, — объявил как-то Гарик Лучин (Гайчи), — расположен на одной параллели с Марселем. И планировался он, как Марсель. Никакой путаницы. Улицы параллельно реке, проспекты — перпендикулярно. Много парков и зелени.

Заявление Гайчи никто не подверг сомнению. Во-первых, это сказал Гайчи — едва ли не самый уважаемый член Двора, а во-вторых, очень понравилась сама идея: наш город — Марсель...

— Смотри! — сказал Сявон Сергею и показал в сторону вокзала, туда, где гордо плыл в утренних низких облаках океанский корабль новостроек Железнодорожного района.

Сергей посмотрел и вдруг понял — корабль не плывет. Он стоит, выбросившись на мель, и кто-то уже разворотил, отрезал ему автогенном носовую часть, словно корабль решили пустить на слом.

— Гады! — сказал Сявон. — Что сделали, гады! А зенитчики эти!.. — Сявон плюнул и растер плевков ногой.

— Пойдем туда! — сказал Сергей.

— Надо! — сказал Сявон. — Да отца забирают. Как же я? Не успею ведь.

Но Сявон уже решился.

На остановке они с передней площадки втиснулись в утренний переполненный автобус — протискивался Сявон, а Сергей сзади подпирал и подталкивал его. Какой-то еще не успевший похудеть дядька закричал на Сявона, но потом взглянул в его очень уж открытые глаза — у Сявона были короткие, «собачьи» брови и короткие тающе-белесые ресницы — и замолчал.

К железнодорожным новостройкам они пришли усталыми — дома стояли дальше, чем они ожидали. Новостройки оказались четырех- и пятиэтажными зданиями с широкими квадратными окнами, с просторными балконами, почти такими же, как в их доме. Здесь все было как в новых районах города — решительная ясность в

архитектуре, много асфальта и зелени, магазины с высоченными витринами, песочницы и фанерные грибки около детского сада. Домов было много, и Сергей с Сявоном не сразу нашли тот, в который попала бомба. На этот дом Сергею было так же страшно и любопытно смотреть, как на покойника. Ужасали податливо и безжизненно свисавшие балки потолочного перекрытия верхнего этажа, безобразно изорванное железо крыши, продавленная, превращенная в кучу известковой и кирпичной трухи тяжелая стена. Близко их не пустили — там еще шли спасательные работы.

— Уходите, пацаны, — сказал им милиционер, — вас еще не хватало!

Сявон подмигнул Сергею и рванулся вперед. Но милиционер оказался проворней, он поймал Сявона за пояс и привычным приемом «пойдем со мной» перехватил его за руку. Сявон заорал. Он орал притворно — Сергей это ясно видел, но толпа, угрюмо окружавшая дом, всколыхнулась.

— Эй! — крикнули милиционеру. — Отпусти пацана!

— Нашел с кем воевать!

— На фронт иди! Ишь сытый какой!

Милиционер растерянно оглядывался, ища поддержки. Но поддержки не было.

— На фронт! — кричали ему.

И когда Славка рванулся, милиционер не стал его удерживать.

— У меня отца в армию забирают, а ты держишь! — сказал Сявон и вдруг навзрыд заплакал.

И, не глядя на людей, не вытирая, а будто затирая, вдавливая слезы, побежал по улице.

Так закончилась эта вторая встреча с войной, оставив в памяти кисловатый запах взорвавшегося тола, гари и ощущение надрыва, который надо во что бы то ни стало преодолеть.

6

Но вообще все в этот первый месяц было почти как до войны. К немецким самолетам в небе над городом постепенно привыкли. Бомб немцы больше не бросали, зато тоненькие крестики «мессершмиттов» частенько проплывали в высоте, словно не замечая грозной карусели «ишаков», барражировавших над городом. Страстное напряжение, с которым Сергей ожидал — вот-вот наши начнут наступать, — ушло куда-то вглубь. Теперь он, не опасаясь удара, схожего с электрическим, включал по утрам репродуктор и выслушивал очередную сводку, в которой назывались новые города (о большинстве из них он до сих пор не имел никакого представления), оставленные нашей армией. Отступление уже ничем временным, ничем случайным нельзя было объяснить, его никак нельзя было согласовать с тем, чему много лет учили книги, газеты и кино, и потому у Сергея вырабатывалась — никак не могла выработаться — тоскливая привычка терпеть необъяснимое. Она не очень мешала заниматься будничными делами, но и не отпускала ни на минуту. А будничных дел ребятам теперь прибавилось: появилась новая обязанность — «отоваривать» карточки, дежурить ночами на крыше, заниматься в кружках ПВХО и «Готов к санитарной обороне»... Но все остальное, даже ежевоскресные походы к тетке, осталось будто довоенным.

А однажды в воскресенье отец предложил по традиции съездить в зоопарк — они с Сергеем обязательно раз в год там бывали. К зоопарку нужно было ехать сначала трамваем, а потом пересаживаться на специальный автобус. На автобусной остановке простояли около часа и решили потихоньку двинуться пешком — авось машина по дороге догонит. Но машина не догоняла, не попадались и встречные автобусы с литером зоопарка, и Сергей догадался: на этот прогулочный маршрут автобусы больше не подаются. У ворот зоопарка не было ни души, зеленой дощечкой закрыто окошко-бойница кассира. Кассиршу разыскали в парке, она удивилась: «Вы к нам? На зверей хотите посмотреть?» Сергей даже смутился — время ли сейчас ходить по зоопаркам!

По сонной, пахнущей зверями, скучной жаре побродили недолго. Несколько раз ловили на себе удивленные и, как Сергею казалось, осуждающие взгляды служителей парка и, недовольные друг другом, двинулись домой. Идти предстояло несколько

душных, пыльных, начисто лишенных тени километров, и это еще больше испортило настроение.

Отец шел молча, рассерженно посапывая. Потом начал экзаменовывать Сергея по вопросам международной политики. Без особого труда обнаружив, что в вопросах международной политики Сергей явно не силен, Александр Игоревич возмущился и решил сделать для сына обзор последних номеров газет. Он говорил, как всегда стараясь ближе к тексту передать содержание газетных статей.

— Вот так, сын, — закончил он, явно подобрев и к Сергею и к себе. — Будет и на нашей улице праздник. Победа будет за нами!

— А города за вами, — неожиданно для себя брякнул Сергей.

— Не понимаю? — нахмурился отец.

— Победа будет за нами, а города за вами, — упрямо и раздраженно повторил Сергей. — Так все говорят.

Действительно, в хлебных очередях, на улице он слышал эту ядовитую присказку, которой кое-кто тогда комментировал наши сводки об отступлении.

Александр Игоревич даже остановился. Губы его побледнели.

— Кто ж это «все»?

Чувствуя, как в отце поднимается ярость, Сергей обычно поспешно отступал, но теперь он сам был захвачен ответным яростным порывом.

— Все, — сказал он.

— Кто же, я спрашиваю?

Сергей не ответил. Он вспомнил, что недавно во двор эту присказку принес Сявон. Он где-то услышал ее и рассказал ребятам. Потом Гайчи после какой-то особенно тяжелой сводки повторил это.

— Этих всех, — задохнулся отец, — их надо... Это враги! Они об одном мечтают — чтобы вернулись старые времена. Они хотят, чтобы сюда пришли фашисты!.. А ты бессмысленно повторяешь...

— Никакие они не враги, и ничего они такого не хотят. Просто противно, когда врут! А тебе, наверное, не противно! А тебе, наверно, все равно!

Это был первый за всю жизнь случай, когда Сергей вот так открыто восставал против отца. Сергей часто не соглашался с отцом, осуждал его, даже стыдился его, но возражал ему открыто первый раз в жизни. И Александр Игоревич стал в тупик. Он не привык спорить с сыном. Самую возможность такого спора он считал противоестественной.

— Льются реки крови, горят города, люди на фронте умирают... — Голос отца дрожал. Он не смотрел на Сергея: так ему легче было сдерживаться. — Почему же ты помогаешь мещанам и пораженцам? Почему ты льешь воду на мельницу врага?

— Ничего я не лью. А чего врать?

Сергей набрал побольше воздуха и задержал дыхание, будто готовился надолго нырнуть в воду. Он с тоской прикидывал, сколько еще идти до трамвайной линии.

А отец говорил и говорил. К трамвайной остановке они, казалось Сергею, подошли врагами. Усталые и чужие, стояли рядом, ожидая вагона.

7

Однажды Сергей шел в школу на занятия ПВХО. Сквозь боковую маленькую дверь — парадная на все лето запиралась — пробрался в спортивный зал, подышал кислым запахом пота и паркетной мастики, поднялся на второй этаж, где обычно собирались ребята, и, никого не застав, спустился опять во двор. Здесь на школьных дверях прочитал объявление, на которое сразу не обратил внимания. Объявление оповещало, что сегодня занятия переносятся в ковш, на базу юных военных моряков.

У ворот столкнулся с Гришкой Кудюковым. Это была неприятная встреча. Рядом с Гришкой Сергей всегда испытывал утомительно-стерегущее напряжение. Этот парень ежеминутно мог сделать что-то такое, что возмутило бы нормальный ход событий и заставило бы Сергея вмешаться в неприятную историю. Мог оскорбить слабого, ударить девчонку, порвать у кого-нибудь тетрадку или налить в чей-нибудь портфель чернил. И все это просто так, без понятных Сергею причин. В Гришке было что-то глубоко враждебное Сергею. Гришка просто умер бы от смеха, если бы узнал о словах, которыми мама награждала Сергея.

Даже если Гришка никого не трогал, его присутствие утомляло Сергея. Гришка не трогал в этот день, в эту минуту, но он мог тронуть в любой день, в любую другую минуту.

— Учиться пришел? — спросил Гришка.

— Да вот... — неопределенно ответил Сергей.

— Как огурцом сбивать немецкие самолеты?

Обычно мышцы Гришкиного лица, когда он обращался к Сергею, расслаблялись, нижняя челюсть чуть отвисала и выдавалась вперед, так что все сказанное им получало окраску крайней небрежности и презрения. А глаза светлели до степени, которую можно было бы назвать минимумом выражения. Все это на понятном любому мальчишке языке означало: «Я тебя знать не знаю. Я тебя не вижу рядом!»

Вообще-то этот «минимум выражения», эта гримаса крайнего высокомерия и враждебности есть в арсенале каждого мальчишки, которому хотя бы два-три раза в жизни приходилось спрашивать своего недавнего приятеля или знакомого: «А ты кто такой?» Однако большинство ребят лишь на время, напрокат берут эту гримасу. И она у них никогда не получается по-настоящему. Не отвисает у таких мальчишек до нужной презрительной кондиции губа, не исчезает из разгневанных глаз человеческое.

Гришка Кудюков «минимумом выражения» владел блестяще.

Однако, если Сергей и Гришка сталкивались наедине, если рядом не было ребят, знавших об их стычках, Кудюков старался принять позу человека рассудительного и доброжелательного. Он хоть и презирал Сергея за интеллигентскую мягкотелость, но и удивлялся ему и чуточку опасался.

Гришка опасался не кулаков Сергея — вернее, не их одних, — он опасался его враждебности, которая ежеминутно могла стать иступленной.

— Ты куда? — спросил Гришка.

— В ковш, на базу, будь здоров, — скороговоркой произнес Сергей и, с облегчением помахал рукой.

— Эй! — крикнул Гришка. — Стой! Айда и я с тобой!

Они прошли несколько шагов молча.

— Слышал, — сказал Гришка, — шкрабы нашу школу отдают под госпиталь. В этом году учиться не будем. Лафа!

Целый год не учиться, конечно, лафа. Но, пожалуй, Гришка врет.

— Значит, мы все останемся на второй год, а ты — на третий?

— Э-э! — презрительно сплюнул Гришка. — Век учись — дураком помрешь. Умные люди расписываться за себя не умеют, а деньги зашибают — дай бог!

Гришка достал папиросы, протянул Сергею. Тот отрицательно качнул головой.

— Еще не начал? — спросил Гришка. — Знаешь, как один учитель уговаривал мужика не курить? «Ты, — он ему говорит, — посчитай: каждая папироса стоит копейку. Сколько ты за жизнь папирос искурил? Мог бы себе дом построить и лошадь купить». А мужик ему отвечает: «Ты, учитель, не куришь, а где твой дом, где твоя лошадь?»

Гришка захохотал. Он знал десятки таких историек и анекдотов, в которых учителя, врачи и вообще образованные оставались в дураках, а люди темные, себе на уме, торжествовали одной своей нутряной хитростью.

Сергей промолчал. Гришкина благожелательность была ему еще тяжелее враждебности. В благожелательном настроении Гришка разговаривал с Сергеем так, будто вербовал его в союзники.

— Аба, — сказал Гришка, — небось теперь трусится день и ночь. Молится, чтобы немцы сюда не пришли.

— А ты не молишься?

— А чего мне молиться? Не еврей — спи спокойно!

— Сволочь ты.

Гришка хохотнул:

— Я и забыл, ты же Абин друг. А может, ты сам еврей?

— Дурак, у меня отец бывший донской казак.

По приливу Гришкиной благожелательности Сергей почувствовал, что сказанное им самим — подлость, и постарался исправить ее:

— А ты просто дрянь, Гришка.

— Чего я дрянь? — почти добродушно удивился Гришка. — Вон матушка моя вчера Анне-литераторше говорится «Анна Михайловна, вы, наверно, с города будете утекать? Вас тут люди знают — вы партийная. Вдруг какой ученик донесет, которого вы на второй год оставляли...» Это матушка на меня намекает. А Аннушка матери: «Я партийная по принуждению. Придут немцы, — и я билет на стол». А тоже сколько нам всяких слов про идейность, про Родину наговорила. Послушаешь — куда там!

— Врешь ты, — лениво сказал Сергей, — все врешь.

Он даже успокоился. Анна Михайловна, с которой у Сергея связывалось представление о безупречной тишине и дисциплине в классе, — единственный преподаватель в школе, к которому не приклеилось ни одно прозвище, и дурацкие слова, приписанные ей Гришкой, — слишком уж это глупо! Напрасно Гришка старался.

У моста через реку они долго пробирались между машинами и повозками — красноармейцы в выцветших гимнастерках проверяли документы шоферов и пассажиров грузовиков.

Мост был разводной. Несколько раз в день к нему подплывал небольшой буксирный пароход, забрасывал трос на центральную секцию и оттягивал ее к берегу: секции держались на баржах, для устойчивости загруженных камнем. И тогда на берегу скапливались гигантские очереди грузовиков, легковых машин и конных повозок.

— Дадут сюда немцы пару бомб, — сказал Гришка, — винегрет получится.

Они шли по деревянному, прогибающемуся под колесами машин, исцеленному настилу и испытывали смутное беспокойство. Оттого, что широкий и тяжелый мост так тщательно охранялся, он казался неожиданно хрупким и неустойчивым.

За мостом, петляя по низкому берегу между домишками на высоких каменных фундаментах — защита от ежегодных паводков, — тянется латаный и перелатаный асфальт узкого шоссе. Сейчас он, наверно, из последних сил держится под колесами и гусеницами по-военному тяжелой и неделикатной техники.

Небо над этой техникой безнадежно и откровенно чистое, глубокое, синее. Редкие облака быстро и беспрепятственно проходят его от горизонта к горизонту, и люди, стесненные узкостью дороги, раздраженные тем, что им кажется неразберихой, нерасторопностью, опасливо провожают их глазами.

К ковшу от шоссе ведет короткая немощеная дорожка. Ковш — большой искусственный залив, зимняя стоянка речных и небольших морских пароходов. Частенько сюда заходит мечта всех городских мальчишек — трехмачтовое парусное учебное судно местной мореходки. В ковше же приткнулась к мели старая, отработавшая на Азовском и Черном морях колымага, что-то вроде самоходной баржи с разваленными непосильным грузом бортами, с навсегда чем-то провонявшими трюмами. На этой колымаге и оборудована база юных военных моряков. На базе и вообще в ковше всегда много мальчишек. Их тянет сюда то, что взрослых отталкивает: стоячая, покрытая зеленью и мазутом вода, обилие старого, ржавого железа, топкое, илистое дно, засосавшее не одну лодку, хранящее не одну тайну, замусоренные, захламленные берега, где можно найти старые якоря, звенья оборванных якорных цепей, части сгнивших лодок и даже сравнительно целые рыбацьи каюки.

Сергею нравилось в ковше, нравилось на вонючей колымаге, из трюмного железа которой не могли вытравить отвратительный запах даже великие аккуратисты — боцман и его матросы. На колымаге царствовал порядок — порядок чувств и вещей — и еще какая-то необыкновенно притягательная для мальчишек, начисто лишенная сентиментальности морская категоричность. На колымаге Гришка и Сергей ребят не застали — занятия уже кончились. Тогда они представились дежурному матросу, разделись и решили для начала искупаться.

Сергей плавал неважно. Он был узкогруд и, как сказал боцман, имел нулевую плавучесть. В бассейне, где всегда можно было ухватиться за поплавок, он чувствовал себя сравнительно уверенно, но подныривать под поплавки и уходить в длительные путешествия по большой воде, как это часто делали другие ребята, Сергей не решался.

Гришка сказал:

— Ты опять в лягушатник? Моряк — и ж... в ракушках?

— Да я... — растерялся Сергей.

— Я и говорю: герой!

Гришка прошлепал босыми ногами по железу палубы, потоптался у борта, устраиваясь поудобнее, расслабился и не прыгнул, а лениво и медленно стал заваливаться вперед. Ноги его отделились от борта, когда голова была уже ниже палубы. Тем не менее Гришка не бултыхнулся рядом с бортом — он пролетел по воздуху порядочное расстояние и хорошо вошел в воду. Прыжок был неправильным, их не так учили прыгать и входить в воду, но была в нем великолепная свобода, такая полная уверенность: «Как я ни прыгну, у меня будет порядочек». И Сергей почувствовал вызов. Может, вызова и не было, но Сергей понял — он поплывет за Гришкой.

Несмотря на яркий, солнечный день, поверхность ковша выглядела серой — короткая острая волна ломала ее. Раскачавшаяся, взболтанная вода резко пахла илом и сыростью.

Нырнув, Сергей слишком глубоко ушел под воду, значительно глубже, чем рассчитывал, и ему едва хватило дыхания, чтобы выбраться на поверхность. Волна шла навстречу, и первая же утопила его, заткнув рот плотной водяной пробкой. Вторая — с ходу отвесила тяжелую пощечину. Сергей задохнулся, отвернулся от волны и поплыл вперед, туда, где качалась широкая, видная почти до пояса спина Гришки Кудюкова. Сергей часто махал руками, торопился догнать Гришку, но двигался медленно. И чем, медленнее он двигался, тем торопливее стучало, набирало скорость его сердце.

Вначале Сергей часто оглядывался назад, на черный, облизанный снизу волнами корпус колымаги, — мысленно опирался на нее. Но потом оглядываться становилось все страшнее и страшнее, и он поплыл, глядя только вперед, где с пробочной легкостью, с естественностью поплавок двигался Кудюков.

Наконец — однако, поздно для Сергея! — Гришка остановился, поднимая тучу брызг, покрутился на месте и двинулся назад. Сергей повернул за ним и где-то далеко впереди, низко над водой, будто за это время ее до предела нагрузили, увидел колымагу. И как только он это увидел, как только понял, сколько ему надо проплыть, чтобы, вернуться назад, — силы окончательно оставили его. А скорость, с которой мчалось сердце, достигла мыслимого предела и даже перешагнула его.

Сергей не крикнул, ему было стыдно. Да и что сделает Кудюков на таком расстоянии? Странно — тело Сергея паниковало, а мысль пришла какой-то отрешенной, спокойной: вот и все, сейчас он утонет.

Гришка оглянулся сам. Он почуял неладное.

— Эй! — крикнул он, подплывая. — Чего? Судорога? Придержись за меня, а ногу ущипни. У меня сколько раз так бывало!

Гришкино плечо было рядом. Его обдавало волной, оно мокро лоснилось, и тут же ветер и солнце мгновенно высушивали кусочек загорелой кожи, и опять вода захлестывала его.

Сергей услышал не только спокойный голос Кудюкова, не только то, как он шумно и сильно — в воде Гришка казался большим и сильным — выдувает воздух. Он услышал мальчишечий визг на колымаге, чьи-то далекие мужские голоса на берегу, гудки пароходов — солнечные и спокойные звуки жаркого летнего дня на реке, которых, оглушенный грохотом собственного сердца, он до этого не слышал. Уши Сергея перестали глохнуть, и руки заработали как надо.

— Прошло, — сказал он Гришке, — отпустила. — И осторожно попросил: — Ты далеко не отплывай... На всякий случай.

— Ладно! — снисходительно согласился Гришка. И, спокойный, уверенный, громко отфыркивающийся, поплыл рядом.

Сергей кое-как сам добрался до колымаги, с трудом взобрался на нее и долго дрожал, покрывался гусиной кожей, переползая с одного места палубы на другое в поисках наиболее согретого куска железа.

8

В конце августа отца мобилизовали. И это сразу сблизило их с Сергеем. Отец ушел в армию, но еще несколько дней будто оставался дома. Его вместе с такими же пожилыми, не очень приспособленными к войне дядьками поместили в большом, пустоватом, украшенном колоннами здании Дворца культуры электриков. Сергей

каждый день бегал туда — носил отцу в судках обед, который с вечера готовила мать. Часовые беспрепятственно пропускали его и еще десяток таких же пацанов с кастрюльками. Сергей робко говорил часовому: «Здравствуйте», задерживался ровно на секунду, чтобы понять, пропустит или не пропустит, проходил по звонкому мраморному полу вестибюля ко второму, «внутреннему» дежурному, уже веселее здоровался с ним и взбегал по лестнице, на которой недавно снятые ковровые дорожки оставили длинный след «незагара».

На втором этаже дворца, как в театральном фойе, пахло пыльными портьерами, как в спортивном зале — потом и, как в столовой, — парующей пищей. Дворец культуры был постоянной казармой — военкомат соорудил здесь что-то вроде пересыльного пункта, где люди ожидали по неделе, а иногда и по две, пока их направляли в боевую часть.

Поднявшись на второй этаж, Сергей медлил, надеясь, что отец сам увидит его, а потом просил кого-нибудь с краю: «Позовите, пожалуйста, Рязанова». И этот кто-нибудь, смущая Сергея громкостью, орал на все фойе:

— Рязанов, на выход! Обедать принесли.

Отец выходил еще более смущенный, чем Сергей. Он брал судки и, уединившись с Сергеем за отодвинутый от стены огромный стенд с темными квадратами следов от фотографий на красном сукне, съедал борщ, тщательно облизывал ложку, вытирал тряпочкой, заворачивал ее в газету и передавал Сергею свой пайковый сахар.

— Вот свежие газеты, — говорил Сергей, — сегодня принесли. Те, что ты мне вчера отдал, я подшил. Мама спрашивает: можно, если понадобится, брать газеты из прошлогоднего сшива?

— Можно, — кивает отец. — Но не очень, хорошо?

Разговаривают они только о самом простом, говорят полупшепотом, словно громко здесь уместно кричать о чем-то грубоватом. Отец, наверно, умеет это самое грубоватое, но Сергею он стеснялся этой стороной показываться, будто они когда-то договорились, что в жизни грубого вообще не существует. Во всяком случае, для таких людей, как Александр Игоревич и Сергей.

Взвизываясь, переходил на свой торжественно-газетный язык отец очень редко, — начнет что-нибудь такое, но тут же споткнется, умолкнет и осторожно поглаживает Сергея по плечу или несмело притрагивается к его руке, долго не отпускает, поправляя воротник рубашки или потертый лацкан пиджака. Отец быстро седел — он явно был уже немолодым человеком. Дома сохранилась наклеенная на толстый картон фотография: отец — новобранец первой империалистической войны. Подтянутый, усатый красавец, картинно положив руку на штык, привешенный к поясу, смело смотрит в объектив. И высокая папаха сидит на нем как влитая, и погоны на сильных плечах... Сразу видно, этот парень на фотографии — лихой и бравый солдат. Сейчас отец не был ни лихим, ни бравым, он ничем не напоминал парня с фотографии.

Иногда отцу удавалось получать двухчасовые отпуска. Он прибежал домой, проходил по комнатам, садился на табурет у кухонного стола, присаживался на стул у обеденного — и все это торопливо, словно боялся что-то не успеть или забыть. Потом он просил Сергея спуститься в газетный киоск или к старухе папироснице и купить десяток «гвоздиков» — тоненьких, дешевых папиросок. При этом у него и у матери почему-то становились смущенными лица. Сергей знал почему и презирал в этот момент и отца и мать.

И это тоже была война.

Уехал отец неожиданно, никого не успев предупредить. Сергей пришел со своими судками во Дворец электриков, а там совсем новые люди.

— Ночью уехали, — сказала часовой. — С дороги напишет.

Отец писал часто и в письмах опять стал таким, каким Сергей его знал до войны. По-прежнему, обращаясь к Сергею, именовал себя в третьем лице, по-прежнему не скупился на советы и поучения. «Твой отец, — писал он, — несмотря на сложные дорожные условия и слабую приспособленность вагона для нормальной жизни, не жалуется. Он регулярно делает зарядку по утрам...» Были письма с призывами слушать мать, хорошо учиться в школе, и все они одинаково раздражали Сергея. Они будто отнимали у него самостоятельность во всех добрых делах. Словно все, что ни делает Сергей хорошего, будет сделано по указке отца, а не по его, Сергея, разумной воле.

Лишь одно письмо встревожило Сергея. Отец обращался к матери и говорил с ней, казалось, особым, «закрытым», обращенным только к ней голосом. «Ты знаешь, Зина, — вчитывался Сергей в торопливые, лишенные обычной для отца каллиграфической кокетливости (у Сергея не все ладно с чистописанием, ему нужно подавать хороший пример!) строчки, — события развиваются далеко не так, как нам хотелось бы. Победа будет за нами, в этом я ни минуты не сомневаюсь. Но до победы может многое случиться. Я не хочу об этом думать, но, если вы окажетесь во временной власти проклятого врага, береги себя и особенно Сергея. Он очень невыдержанный и пылкий. Я дрожу от одной мысли, что он может наговорить врагу и что из этого получится. Научи его сдержанности, ты мать, тебе это удастся лучше, чем мне».

Должно быть, отцу из его далека было видно что-то такое, во что здесь, в городе, и поверить невозможно.

Отец считает его способным на пылкий, безрассудный поступок. А каков Сергей на самом деле?

Сам себе он давно задает этот вопрос — и каждый раз все с большим беспокойством. Ведь он совсем недавно струсил в ковше и утонул бы от одного страха, если бы не Гришка Кудюков.

9

— Ребята! — крикнул Толька Шкет, вбегая на спортивную площадку. — Вы здесь?

Никто не цыкнул на Шкета, не оборвал его: «Чего орешь? Знаешь же, где мы!» Мальчишки, сидевшие в темноте на скамейке, скрытой в виноградных листьях, понимали — Шкету, не так давно принятому в братство, лестно кричать уравнивающее «ребята» шестнадцатилетним Сагесе и Гарику Лучину, пятнадцатилетнему Сявону, четырнадцатилетним Хомику и Сергею.

— Ребята! — крикнул Толька. — У нашей подворотни стоит Рыжий и еще другой из дома-гиганта, тот, что ходит в майке с буревестником.

Парень в майке с буревестником и Рыжий из дома-гиганта (гигантеры) в подворотне — по довоенным нормам неслыханная дерзость. Но никто не поднялся навстречу яростно дышавшему Шкету.

— Ну, чего орешь? — увещевающе сказал Сагеса. — Подворотня казенная. Кто хочет, тот стоит.

Гарик разъяснил отечески:

— Мы же ее не закупили, да? Ну и пусть себе стоят.

— Постоят, постоят и уйдут, — длинно сплюнул Сявон.

Рассудительность и миролюбие Гарика Лучина Толику были давно известны. Гайчи много раз выручал Шкета, когда тот добивался права на новое прозвище и часто, на радость Сявону и другим агрессивным мальчишкам, попадал впросак. Сагеса, которого давно тянуло оставить школу и поступить слесарем на завод или лучше в университетскую механическую лабораторию, постепенно отдалялся от дворовых забот. Но Сявон! Человек, завоевавший себе славу яростной неуступчивостью во всех вопросах чести! Тут Толька чего-то не понимал. Он затих... Ребята продолжали неторопливо беседовать.

— Вчера, — тянул свою любимую линию Сагеса, — говорил с мастером механических мастерских «Мореходки». «Иди, — говорит, — к нам. Рабочие руки знаешь как нужны!» — Сагеса посмотрел на свои руки. Они и впрямь были у него рабочими, с тяжелыми, мясистыми ладонями, с сухой, потрескавшейся от постоянного промывания керосином и маслом кожей. Руки эти давно придавали Сагесе не свойственную мальчишкам солидность. Он сам это чувствовал и «пристраивался» к своим рукам: ходил, сутулясь по-мастеровому, и даже лицом темнел, будто и его постоянно промывал керосином и маслом. — А может, в армию податься? — продолжал Сагеса. — Прибавить себе лет и податься? Гарик, по внешнему виду мне уже можно дать восемнадцать?

— Метрику спросят, — уклонился Гайчи.

Сагеса вздохнул, а Сергей рассказал недавно вычитанную историю времен гражданской войны о пацане-разведчике.

Но гражданская война энтузиазма не вызвала.

— То было одно, — сказал Сагеса, — а теперь другое. Теперь на «алала» никого не возьмешь. Теперь техника, машины, моторы.

Это было очень умно сказано, и ребята некоторое время помолчали.

У них теперь было много самостоятельности (отцы в армии), гораздо больше, чем они могли поднять. И выглядеть они старались по-взрослому. Хулиганству была объявлена война. Выругавшемуся назначался штраф. Правда, штрафы обычно не взимались — к концу дня проругивались слишком многие.

— В армию еще рано, — сказал Гарик, — можно в ополчение. У тетки на фабрике организуется ополчение. Я запишусь.

Гарик запишется. Это ясно. Бывают такие люди, которым с самого детства все удается: умные родители, свой собственный прекрасный характер, уважение товарищей. Другие всю жизнь из кожи лезут, чтобы добиться хотя бы крошечной части того, что этим счастливым достается без всякого напряжения. А счастливые и не подозревают, что тут надо напрягаться. Полное взаимопонимание с родителями — естественно! Уважение товарищей — а как же иначе?

У Гарика редкая, даже редчайшая примета: у него разные глаза. Один — коричневый, с нормальным, круглым зрачком, а второй — светло-зеленый, с узким, кошачьим. Другому с таким кошачьим глазом проходу бы не дали, а Гарика не то что не дразнили — никто у него ни разу не спросил, что это и почему. И ведь нет у Гайчи, не чувствуется всегдашней готовности Сявона оскорбиться, посчитать обидчиком человека, косо посмотревшего. И лихости нет. В прошлом году он вместе с Сявоном начал заниматься боксом, месяц проходил — бросил: «Несерьезно!»

Сергей влюблен в Гайчи. Влюблен скромно и почтительно, он чувствует разницу в возрасте и способностях.

И не только Сергей влюблен в Гайчи. Гарик не ищет популярности, не стремится главенствовать, к неписаной, но довольно прочной дворовой иерархии он абсолютно равнодушен. Но Двор сам выдвигает его. В семье Лучиных сложнейшая и болезненная для большинства ребят проблема «дом — Двор» решена на самой демократической основе. Родители уважают интересы Гарика, Гарик уважает интересы родителей. И мягкий свет этой мудрой сдержанности и взаимного понимания отмечен и оценен всем Двором.

Ивану Лукичу, старому железнодорожнику, мальчишки доверяли самые щепетильные свои тайны, к нему иногда обращались за защитой от собственных родителей. Иван Лукич брался за эти поручения и умело, не растревожив родительского самолюбия, выполнял их. Особенно часто ему приходилось посредничать между вспыльчивым Сявоном и его вспыльчивым отцом. Спортивная площадка, трапеция, турник, коробка с песком для прыжков появились во дворе после того, как Ивану Лукичу удалось убедить большинство взрослого населения дома, что «дети есть дети».

...В темное небо, погасив свет звезд, вдруг молчаливо уперлись голубые столбы прожекторов, пошарили каждый по своему участку потолка, а потом сошлись в одной точке, во что-то пристально всматриваясь. Ничего не увидели, разлетелись и погасли. Их молчаливая, напряженная работа вызвала тревогу. Ребята минуту ожидали: может, донесется какой-нибудь звук, может, опять зажгутся прожектора...

Сергей сказал:

— Прожектором можно сбить самолет, я читал. Умелый прожекторист так ослепит летчика, что тот в землю врежется.

— Жди, когда врежется, — сказал Сагеса.

— Видели уже, — сказал Сявон.

— Нет, почему же? — сказал Гарик. — По теории вероятности это вполне возможно.

— Это что за теория вероятности? — осторожно спросил Сявон.

Года полтора-два назад Сявон был безусловно самой популярной личностью во дворе. Гарика и тогда, конечно, уважали, но, погруженный в свои радиосхемы, умные и скучные справочники по электричеству, он не мог соперничать с рыцарственно ярким и бесшабашным Сявоном. И не соперничал. Но вот уже и сам Сявон усиленно морщит лоб, задавая ему вопрос, и готовится выслушать и запомнить, что он ему скажет.

— Теория вероятности? — Гайчи замаялся. — Ну вот, например, по теории вероятности будет так: если здесь один снаряд разорвался, то другой уже в эту воронку не попадет. Видишь воронку — можешь от обстрела спастись туда.

— С гарантией?

— С гарантией.

Сявон повеселел.

— Наука! А вы знаете, — сказал он, — вчера на кухне наша соседка, богомольная Тимофеевна, говорит: «Гитлер решил уничтожить всех русских за то, что они безбожники и много ругаются». А я ей: «Тимофеевна, придут фрицы — я первому же колбаснику скажу: «Вот наша первая матерщинница!»

Сявон зажег папиросу, затянулся так, что в ней что-то затрещало, и сплюнул.

— Отчего это, — спросил он, — как курю, так плююсь?

— Куришь же, — веско сказал Сагеса. — Легкие загрязняешь. Организм и очищается слюной.

Опять помолчали.

Гарик скрутил себе толстую махорочную папиросу, отсыпал табак Сергею и Сагесе:

— Про слюну несерьезно. Никотин раздражает слюнные железы, вот и плюешься.

Гарику никто не возразил. Однако Сявон, Сергей и даже некурящий Шкет продолжали плевать, им понравилась идея слюной очищать организм.

— Гарик, — робко попросил Шкет, — и мне табак на папиросу!

— Дать ему? — спросил Гайчи общество.

— Безотцовщина! — возмутился Сагеса.

— И выпороть некому, — добавил Сявон.

— Думаешь, мы хорошо делаем, что курим? — спросил Гайчи. — Война! А то кто бы стал себе отравлять организм? А ты мал еще.

— Соплив, — сказал Сявон.

— Ты пойми, — сказал Гарик, — табак не жалко. А ты мал еще.

По асфальту неожиданно в этой дворовой тишине жеманно и кокетливо зацокали дамские каблук. Ребята взгляделись — мимо спортивной площадки шла женщина в темном костюме, в шляпке с вуалеткой.

— Ишь как одевается, собака! Праздник ей, — сплюнул Сявон.

— Повесила на шляпу праздничные флаги, — сказал Сагеса.

Женщина была женой работника прокуратуры района. Он поселился в квартире эвакуировавшихся Маневых. Самого работника прокуратуры (в доме его звали «прокурором») мало кто видел — он уходил из дому рано и поздно возвращался. Зато жену его видели все. Это была уже не первой молодости женщина, шумная и нескромная.

В первый же день она заявила во дворе, что хочет на новом месте завести побольше знакомства с порядочными людьми. И этим словечком — «порядочными» — мгновенно и бесповоротно превратила мальчишек в своих кровных врагов.

— Она у Тимофеевны раз была, — сказал Сявон, — я сам слышал, она ей говорила: «Я бывшая артистка его императорского величества Большого театра. Немцы — культурная нация, мы с мужем сумеем им доказать, что мы порядочные люди».

— Может, она шпионка? — предположил Сергей.

— Шпионка! Такое дерьмо! — Сявон наклонился, поднял увесистую грудку ссохшейся земли, размахнулся и швырнул ее вслед жене прокурора.

Грудка с грохотом ударилась о дверь, которая уже закрылась за женщиной. В парадном поднялся панический визг.

— Бежим, — лениво предложил Сявон.

Ребята вышли из палисадника и неторопливо двинулись к подворотне.

По улице двигалась большая войсковая часть. Взвод за взводом. Видно, люди уже побывали в боях — такие на них были застиранные, выцветшие, словно истончившиеся, гимнастерки, такими худыми, уставшими выглядели солдаты, сдавленные диковинными повязками — толстенными скатками шинелей. Над пилотками покачивались серые четырехгранные штыки.

— Эх! — сказал Сявон. — Винтовки и винтовки! Только один взвод автоматчиков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

После первого сентября во дворе стало пустовато: учились в разных школах, ходили в разные смены. Только Сергей и Миша Чекин последние года четыре учились вместе.

Сергей выбегал из дому пораньше, ежился под утренним прохладноватым солнцем и быстро шел по слепяще белому асфальту, мимо неопрятных окон юридической консультации, мимо типографии и швейной фабрики, за окнами которых всегда устало горят электрические лампочки. Потом сворачивал за трамвайными путями направо, попадал в длинную косую тень от школы и, как в глубокий колодец, нырял в ворота школьного двора. Во дворе, закрытом от солнца школьным зданием, к этому времени было еще даже не утро, а сырые ранние сумерки с крохотными солнечными островками в самом дальнем конце двора, где уже кончались школьные владения, а начинались бдительно охраняемые дровяные и угольные сараи жильцов соседнего четырехэтажного дома. У этих сараев собирались пришедшие раньше всех.

— Рязанов, — сообщал кто-нибудь из этих ранних Сергею, — сегодня Чекин пришел первым, а я за ним.

Воспитанный аккуратнейшей «маманей», Хомик всегда приходил первым. Он даже Сергея никогда не ожидал, чтобы вместе выйти из дому.

— А я еще раньше Чекина пришел, — вмешивался кто-то непризнанный. — Я в школу не заходил. Я на углу стоял.

— А кто тебя видел? — спрашивал Хомик.

— Ну, я правду говорю.

— Не нукай — не в конюшне, — осаживали непризнанного.

— А я...

— Не аякай — не в госпитале!

Разрастались границы солнечных островков, дымилась рыжая крупная пыль из камня-ракушечника, которой посыпан двор, чаще и азартнее звенели за воротами трамваи, а во дворе, уже совсем не похожем на глубокий колодец, залитом поделовому раскалившимся солнцем, теперь только в тени оставались островки нестойкой утренней школьной тишины.

Мало ли таких мест в городе!

Но тишина парков и скверов никогда не притягивала Сергея. Чтобы думать и мечтать, ему нужны были напористые уличные звуки. А вот поджечь на утреннем холоде в одной рубашечке, погреться под зябким ранним солнечным лучом, поговорить с ребятами — еще вполголоса, еще доверительно тихо — это он стал ценить с тех пор, как впервые почувствовал себя в школе своим человеком.

Случилось это далеко не сразу. Кое-кому это удавалось гораздо легче, чем Сергею, кое-кому, правда, и вообще не удавалось.

В самый первый день школа испугала Сергея собранием сотен незнакомых ребячьих лиц. Какая-то странная, толстая и энергичная женщина-девочка, с капельками пота на кончике носа и на верхней губе, в коротком темном платье с широким белым воротником, с большим белым бантом в волосах, в красном пионерском галстуке, по-хозяйски оторвала его от мамы и быстро повела к середине двора, где в нестойкие, гнущиеся ряды строились нарядные, уверенные старшие школьники. Толстая женщина-девочка поставила Сергея в первую шеренгу малышей, передвинула во вторую, поменяла его местами с длинной костлявой девчонкой — и все это, не сказав ни слова, не глядя Сергею в глаза.

Потом старшие школьники по команде двух веселых взрослых стали хором радостно кричать: «Тихо-тихо-ша!» А толстая женщина-девочка, беспокойно оглядываясь на высокого строгого мужчину, наклонилась к малышам, широко расставила руки и пошла на них:

— Немного назад, ребята! Подравняйтесь, ребята!

Школьный духовой оркестр юношески ломкими медными голосами проревел несколько тактов знакомой Сергею торжественной мелодии. Это была славная мелодия, Сергей любил ее, но тут он ее не сразу узнал. Женщина-девочка

повернулась к малышам спиной и замерла в молодцеватой, некрасивой для ее полной фигуры позе, с рукой, вскинутой над белым бантом. Строгий мужчина — это был директор школы — сказал несколько слов (каких — Сергей не разобрал), а старшие школьники хором крикнули: «Спасибо!» И в этом хоре Сергей ясно услышал несколько нарочито визгливых и басящих голосов, — учителя, стоявшие впереди шеренг, строго оглянулись на тесные, пестрые ряды школьников, а директор сказал еще несколько слов, которых Сергей тоже не разобрал, потому что внимательно присматривался к своим соседям и прислушивался к движению, которое, то затихая, то усиливаясь, проходило по рядам. Потом в школе тускло залился электрический звонок, а на школьные порожки — очень широкие и очень высокие — вышла нянечка в синем халате, с ярким медным колоколом в руках.

И сразу во дворе поднялась азартная паника. Обтекая нянечку с колоколом, в школу хлынул бурный поток. Временами в его глубине вспухали яростные водовороты, кто-то вдруг отлетал в сторону и, помятый, изжеванный, тотчас возвращался назад, стараясь втиснуться в самую середину. Сергей тревожно следил за этой борьбой, жалел вытолкнутых и думал, что и его, наверно, сейчас толкнут...

— Возьмитесь за руки, ребята, — сказала женщина-девочка, — я вас отведу в класс, к вашей учительнице.

Сергей взял за руку своего соседа, с готовностью улыбнувшегося ему большеголового коротышку с каштановой челкой, ровненько и аккуратно подрезанной над самыми бровями. Рука была теплой и пухлой. И сам мальчишка был теплым и пухлым.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Мальчишка действовал на Сергея успокаивающе, он ясными глазами смотрел на бурлящие школьные порожки, доверчиво — на толстую женщину-девочку, и вопрос, который он задал Сергею, был ясным и правильным.

— Сергей Рязанов. — Коротышка заставил Сергея вспомнить, что мама велела ему сегодня всем, кто спросит, называть имя и фамилию полностью.

— А меня — Гриня Годин. Хочешь, сядем вместе?

— Хочу.

Это был первый крохотный шаг к освоению школы.

Учительница оказалась старой, морщинистой, какой-то очень чистой и напоминала Сергею «маманю» Миши Чекина. На первой же перемене Гриня Годин быстро — он, наверно, боялся, что его опередят, — подошел к ней, взял ее за палец и торжествующе посмотрел на всех. Так и проходил первый школьный знакомый Сергея весь день, крепко ухватившись за палец Марии Федоровны.

Постепенно круг знакомых расширялся. Самым большим в классе оказался добрый и спокойный силач Ваня Иванников, самым маленьким — трусливый добряк Гриня. Правда, Ваня Иванников был не самым длинным, — самой длинной была Лида Николаевская, прямая как палка и невероятно застенчивая девчонка, которую даже на перемене не поднять было из-за парты — так она стеснялась своего собственного роста. Но понятно — там, где речь идет о росте и о силе, девчонки не в счет. Даже учительница на уроках физкультуры, выстраивая всех по росту, ставила Николаевскую не первой, а второй, за Иванниковым.

Через две недели Сергей стал вырывать свою руку из маминых пальцев еще за два квартала до школы и приглушенно кричать:

— Да не целуй ты меня! Не называй ты меня дурацкой «ласточкой»!

— Не смогу, — смеялась мама, — все равно проговорюсь. Давай мы лучше будем говорить секретно. Так, чтобы только ты меня понял. Я буду называть тебя «мой телефончик, мои тридцать три богатыря». Хорошо?

Через месяц Сергей сказал, что не пойдет в школу, если кто-нибудь отправится его провожать. Он не хочет, чтобы его называли маменькиным сынком.

— Пусть идет один, — решил отец.

Это был второй шаг в освоении школы.

Еще через месяц Сергей и Ваня Иванников вышли на большой перемене за границу коридора для первоклассников, куда дежурные не пускали старших ребят, чтобы те не мешали малышам отдыхать, и, затаив дыхание, прошли по всей школе мимо дверей с потрясающими воображение табличками: «8-й «А», «9-й «В», «10-й «Б». В этих классах учились те самые ребята, которые на линейке, дурачась, кричали

«спасибо», которые так буйно врывались в школу, от которых преподаватели на переменах оберегали первоклассников. Это было испытанием воли...

Во втором классе Сергею вместо завернутых в пергаментную бумагу готовых завтраков дома стали выдавать сорок копеек, и к стойким школьным запахам — запаху пота, дезинфекции и паркетной мастики — прибавился буфетный запах жареных пирожков и ванильного кислого молока, которое продавали в непрозрачных стаканчиках с картонными крышечками. Деньги внесли в и без того беспокойный, наполненный многочисленными осложнениями школьный день ядовитые соблазны. Соблазнов было слишком много, чтобы ничтожная сумма в сорок копеек могла разрешить все болезненные противоречия, возникавшие в Сергеевой душе.

— Что у тебя сегодня было на завтрак? — каждый вечер спрашивал у Сергея отец.

— Пирожки с повидлом, — уныло начинал перечислять Сергей, — стакан «лакта», ириска...

— Почему ты так упорно налегаешь на сладкое? — возмущался отец. И Сергей, задерживая дыхание, в сотый раз выслушивал, как нужно разумно использовать свои сорок копеек.

А завтра опять были сладкие пирожки и нотация отца. Сергей, конечно, мог бы избежать нотации, соврав, что он ел то, что советовал отец (ведь про пирожки и стакан «лакта» Сергей все равно врал, деньги уходили на сласти, на марки, на перышки, на семечки и вообще бог знает на что), но это была бы слишком удобная, наглая ложь, это было бы слишком опасным испытанием судьбы, и Сергей сознательно выплачивал ей дань: пусть отец поругает.

А потом пришла трагедия.

Она спустилась к Сергею со второго школьного этажа, оттуда, собственно, он и ожидал появления чего-то опасного или непонятного. Однажды на большой перемене Гришка Кудюков, тогда третьеклассник, почти незнакомый Сергею, зазвал его и Грину Година в угол, где стоял жестяной бачок с питьевой водой. Около бачка, прислонившись к стене, их поджидала, приветливо и даже как-то светски улыбаясь, *темная личность...* В том, что эта личность темная, у Сергея с первого же взгляда не возникло ни малейшего сомнения. Дело в том, что парень этот определенно не умел улыбаться — ни одна мускул на его мятом, мягком, без углов лице не был приспособлен для улыбки. Не были приспособлены для рукопожатия и его ладони, шершавую бородавчатость которых Сергей неожиданно почувствовал под своими пальцами.

— Это те самые пацаны? — маслясь от невероятно доброй улыбки, спросила темная личность Кудюкова. — Это о них ты мне говорил?

Кудюков кивнул, и Сергей услышал кошачью поступь опасности.

Парень врал, Кудюков и Сергей едва знали друг друга. Надо было бежать. Но как бежать от человека, который так ласково тебе улыбается, так доверительно с тобой говорит?

— Кудюк — правильный пацан, — продолжала личность, ласковой авторитетностью подавляя Сергея. — Он мне сказал, что и вы правильные пацаны.

Сергей вздохнул и нерешительно улыбнулся. Заискивающе улыбнулся и Гриня: черт его знает, может, они и вправду правильные пацаны, может, Кудюков и говорил о них этому исполненному доброжелательности и даже отеческой заботливости старшекласснику? В конце концов, старшие младшим всегда только добра желают.

Подбежал Ваня Иванников и остановился послушать.

— Иди, иди, мальчик, гуляй себе, — сказал парень, — иди, нечего тебе тут делать. — И заговорщически подмигнул Грине и Сергею.

Иванников ушел, а за Гриней и Сергеем как будто бы окончательно захлопнулась невидимая дверь, раскрыть которую мог только этот парень с бородавчатой кожей на руках.

— Вам одним, — сказал парень. — Понятно? — И на минуту разомкнул перед ошеломленными Сергеем и Гриней ладонь. — Хотите иметь такую штуку?

— Насовсем? — поразился Сергей: *штука*, которая блеснула в руке у парня, принадлежала к числу предметов сказочных — это был настоящий револьвер, только очень маленький, «дамский». — Дай подержать!

— Возьми, — с невероятной щедростью сказал парень, — положи в карман, а то увидят.

Сергей схватил револьвер, сунул в карман и сладко почувствовал его теплую железную тяжесть. Он исступленно погладил пальцами коротенький ствол, пузатый барабан, гнутую ласковую рукоятку и сделал несколько шагов «на пробу».

— Ничего не видно, — сказал парень.

— Туже ремень затяни, — посоветовал Кудюков.

В такт шагам револьвер шлепал Сергея по ноге, и с каждым шагом тяжесть его становилась будто все весомее и весомее — тяжесть восхитительной тайны, тяжесть значимости, которую револьвер придавал Сергею.

О том, что рядом с будничным, рабочим миром школьных уроков, скучных домашних обедов, прогулок — вначале «только до подворотни», потом «только до первого угла» — существует, приглушенно дышит, подсматривает в замочную скважину, перекидывается шифрованными словами полный захватывающего интереса и остроты мир.

Тайны, куда пускают лишь настоящих, правильных пацанов, — об этом Сергей знал давно. Он ревниво следил на переменах за уединяющимися ребятами, старался незаметно пройти мимо них, чтобы будто ненароком услышать обрывки приобщающего к тайне шепота, совершал поступки, которые заставили бы мир Приключения обратить на него внимание: прыгал с высоченных школьных порогов, взбирался по запретной пожарной лестнице. Но все было напрасно. Сергей был заклеямен. Он был *ласточка*, *звездочка*, и настоящие, *правильные* пацаны, должно быть, очень хорошо чувствовали это и не принимали его к себе. И вот наконец-то Тайна сама прикоснулась к нему: у Сергея в кармане оружие, которое теперь свяжет его с теми, настоящими...

— Ну, хватит, — сказал парень, — давай сюда.

— Подожди, — взмолился Сергей, — еще минутку!

— Время — деньги, — сказал парень, — знаешь, как говорят американцы...

— Ну, минутку, — молил Сергей.

Но лицо парня вдруг стало таким, каким Сергей все время инстинктивно опасался его увидеть — не то чтобы жестоким, но абсолютно равнодушным.

— Вот и пацан хочет поддержать, — сказал парень, — правда, пацан?

— Гриня не хочет, — сказал Сергей. — Ты же не хочешь, Гриня?

И Гриня Годин, которого на месте удерживал только панический страх, кивнул. Он был рад, что не нужно произносить ни слова.

— А чего ж ты здесь околачиваешься? — грозно и ласково спросил парень. — Ты сексот? Фискал? Знаешь, что я сделаю с тобой? Ноги оторву и собакам выброшу. Понял? Пошел вон!

Гриня побежал, а парень внимательно посмотрел ему вслед.

— Запомнишь его? — не считаясь с тем, что разоблачает себя перед Сергеем, спросил он Кудюкова.

— Запомню, — сказал Гришка. — И этого запомню.

Но Сергею уже было все равно, знал ли его Гришка до этого или не знал, говорил ли он парню, что он, Сергей, *правильный* пацан, или не говорил, Сергей боялся, что сейчас у него отнимут револьвер и узкая дверка в замечательный мир Приключения захлопнется перед его носом. Но дверку явно не торопились прихлопнуть. Мягкий рот темной личности опять собрался в морщины приветливой светской улыбки.

— Значит, хочешь купить?

— Как? — растерялся Сергей.

— За деньги, конечно.

— Но у меня только сорок копеек... — пролепетал Сергей.

— Родители на завтрак дают?

— Дают.

— Много? — Сергея словно обыскивали.

— По сорок копеек.

— Через три дня отдашь рубль. Остальные одиннадцать — по частям. Понял? Револьвер я тебе продаю за двенадцать рублей.

— За двенадцать?!

В непостижимой величине этой суммы таились ужасные, опасные и стыдные возможности — Сергей это почувствовал обжигающе ясно. Но только мгновение для

него это было ясно. Тотчас же все заслонило страстное желание остаться наедине с тяжестью, которая оттягивала ему брюки, запустить пальцы в карман и гладить, и трогать, и давить коротенький ствол, пузатый барабан и ласково выгнутую теплую рукоятку.

— А сейчас давай сюда сорок копеек, которые у тебя есть.

Сергей вытащил деньги.

— Значит, — робко сказал он, — я тебе теперь должен одиннадцать рублей шестьдесят копеек?

— Двенадцать рублей ты мне должен. Двенадцать! — Парень даже развел от удивления руками. — Сорок копеек — это задаток. Какой же ты купец, если не знаешь, что надо давать задаток? Тебя мать дома как зовет? «Мой козлик», «моя птичка»?

Сергей смутился.

— Да нет, — стыдливо махнул он рукой. — Ласточка, звездочка... Женщина же она...

— Ласточка?! — восторженно заикнулась и радостно заржала темная личность. — Звездочка?! — Парень указывал на Сергея серым бородавчатым пальцем и радостно ржал: — Ласточка! Звездочка! Видал, Кудюк, ласточку? — Гришка, враждебно рассматривавший Сергея, презрительно плюнул. — Вот она!

— Да нет же, — пытался объяснить Сергей, — она не в этом смысле...

— Так вот, пора учиться жить, Ласточка-Звездочка. Не маленький уже. Двенадцать рублей ты мне должен, а не одиннадцать шестьдесят. Сорок копеек — задаток.

И началась для Сергея страшная кабала. Он не успевал собрать деньги в сроки, назначенные темной личностью. Темная личность накидывала проценты, и долг все рос и рос. У Сергея на переменах отбирали деньги, бутерброды, перочинные ножички, гоняли с мелкими поручениями. Школа сделалась отвратительной...

Как раскрылась вся история, Сергей уже не помнил. В памяти его остались только обширный, накрытый праздничной скатертью обеденный стол, в центре которого торжественно, изобличающе лежит маленький револьвер, и отец, скрипящий новыми полуботинками, и его вопросы:

— Ты знаешь, что за хранение оружия полагается тюрьма?

— Ты хотел, чтобы нас с матерью забрали в тюрьму?

— Откуда в тебе столько холодного, жестокого эгоизма?

— Ты знаешь, как нам с матерью достаются деньги?

Запомнилась бледная, настороженно следящая за отцом мать, их ночной, не очень понятный спор.

Мать. Мальчик ни в чем не виноват. Он слишком мягок и добр...

Отец. Мягок! Добр! Церковные добродетели! Сейчас за доброту сечь надо, как за воровство. Мы живем в мире...

Мать. Мне был бы противен мир, где за доброту надо сечь... Доброта и порядочность...

Отец. Знаю, знаю. Все знаю. Но с мальчишкой нужно быть пожестче — это в его же интересах.

Мать. Лучше подумай: почему мальчик в самый трудный момент не обратился за помощью к тебе, человеку, который должен быть самым близким ему?

2

И еще через одно искушение прошел во втором классе Сергей.

Второклассники готовились к вступлению в октябрюта. По этому поводу в школу пришел корреспондент областной детской газеты «Костер». Это был маленький, нетерпеливо-подвижный человек с лицом, заслоненным толстенными увеличительными стеклами больших очков.

— Вот наш класс, — сказала ему сверхпедагогично жеманным и холодным тоном (так она разговаривает при завуче) Мария Федоровна.

— Прекрасные ребята, — поспешно, словно подталкивая Марию Федоровну, согласился корреспондент.

— У него стекла в очках пуленепробиваемые, — шепнул Гриня Сергею.

— Зачем?

— Как зачем! Он же корреспондент! А если в него шпион выстрелит?

— А где у него тогда пистолет? — усомнился Сергей.

— Думаешь, он дурак, у всех на виду его носит?

Сергей стал присматриваться (он-то уже знал, как револьвер оттопыривает карман) к пиджачным и брючным карманам корреспондента, а тот все поторапливал Марию Федоровну:

— Отличная стенная газета! Прекрасно оформленный плакат!

Должно быть, у него была своя какая-то цель, и он ждал, когда учительница закончит рассказывать. И, как только Мария Федоровна отпустила его, корреспондент ринулся к классу. Он именно ринулся, засуетился и стал похож на затейника с районной детской площадки.

— Ну как, ребята, — спросил он, — вы дружно живете?

— Дружно! — вразной, довольные неожиданным срывом урока, загудели ребята.

— А девочек не бьете?

— Не-ет!

— А учиться интересно?

— Интересно!

— Вот видите, как хорошо! А кто у вас лучше всех рисует?

В классе на минуту замялись. Иванников сказал:

— Рязанов.

И сразу остальные подхватили:

— Рязанов!

— Сережка!

— Ласточка-Звездочка!

Это крикнул Петька Назаров, всеми признанная сволочь. Сергей грозно обернулся к нему.

— А где Рязанов?

— Поднимись, Сергей, — сказала Мария Федоровна, — с тобой разговаривают.

Сергей, безобразно краснея, поднялся и устоял на парту. О том, что он рисует неплохо, в классе было давно известно, но заветный титул «лучше всех» ему выдали вот так, сразу, с легкой руки Вани Иванникова.

— Ты чего ж смущаешься, герой? — спросил корреспондент. — Ты же герой?

Сергей потупился еще больше.

— Он у вас что? — обратился к классу замаскированное мощными очками лицо корреспондент. — Всегда такой стеснительный? Как красная девица? Ты красная девица? — спросил он у Сергея.

В классе радостно засмеялись. Хохотал Гриня Годин, фыркал Ваня Иванников, и Сергей начал сердиться и освобождаться от своего смущения.

— Никакая я не красная девица!

— Вот и хорошо, — подхватил корреспондент, — я так и знал. Ты — будущий тракторист.

— Никакой я не тракторист.

— А кто же ты? Кем ты будешь, когда вырастешь?

Вопрос был дурацкий, и Сергей сразу бы перестал уважать корреспондента, если бы не его пуленепробиваемые стекла и не подозрительно оттопыренный правый брючный карман.

— Полярником? — подсказывал корреспондент. — Инженером?

— Моряком он будет, — опять вмешался Иванников.

— Моряком?

Сергей молча кивнул. Он не собирался быть моряком, он вообще никем еще не собирался быть. Но надо же что-то отвечать, когда тебя вот так берут за горло.

— А твой сосед?

— Летчиком, — рявкнул класс, уже усвоивший правила игры.

— Летчиком, — робко кивнул струсивший Гриня.

— Ну вот и отлично! — Корреспондент обрадовался: должно быть, сделал свое дело. Он еще зачем-то спросил у Марии Федоровны, где работают родители Сергея и Грини, и попросил ее отпустить Сергея с урока. Потом корреспондент затащил Сергея

в пустую комнату за учительской, где в холоде и пыли мерзли рулоны географических карт, литографий с картин великих художников и горы других наглядных пособий, дал ему лист бумаги и, погладив по голове, попросил:

— Нарисуй мне, мой юный художник, знаешь что? Корабль и над ним самолет...

Газета с рисунком Сергея появилась в школе дня через три. Ее прямо посреди урока принесла в класс сама завуч первой ступени Лидия Михайловна. Она поздравила Сергея и Гриню и пожелала Сергею «развивать и совершенствовать дальше свой талант». Рисунок был помещен на самой интересной и самой почетной, по мнению Сергея, четвертой странице. Он не понравился Сергею. Он не нравился ему еще тогда, когда он в спешке — корреспондент торопил — кое-как набрасывал контуры немыслимого броненосца, который теперь, почти переламываясь пополам, будто его взорвала невидимая торпеда, плыл над красочным заголовком большой шарады. Не понравилась Сергею и надуманная подпись под рисунком: «Сереза Рязанов и Гриня Годин — настоящие друзья, они хорошо учатся, помогают друг другу и мечтают о больших дорогах в морском и воздушном океанах. «Я буду моряком», — твердо говорит Сереза. «А я — летчиком», — заявляет Гриня. Ребятам можно верить».

Во-первых, не такие уж они с Гриней друзья. Только что на одной парте сидят. А во-вторых, ничего такого он «твердо» не заявлял.

Но уже через минуту Сергей стал меньше бояться, что ребята его засмеют, и даже стал лучше думать о своем рисунке.

— Не правда ли, дети, — сказала Мария Федоровна, — эта картинка Сергею удалась? — Мария Федоровна прижала «Костер» подбородком к груди и указывала на рисунок тупым концом ученической ручки — так она обычно демонстрировала наглядные пособия. — Самолет над кораблем и вовсе неплохо получился.

— В газете плохой рисунок не напечатают, — вдруг решительно сказал Гриня.

— Да, — кивнула Мария Федоровна, — теперь Гриня и Сергей должны учиться еще лучше. Да и все ребята тоже. Теперь на вас большая ответственность лежит.

Понравился рисунок и дома. Мать, правда, почти не взглянула на газету. Она смотрела на Сергея и улыбалась.

— Да ты не на меня смотри! Да ты не так смотришь! — кричал на нее раздосадованный и уязвленный Сергей. — Ты, ма, ничего не понимаешь!

— Ну, я смотрю, смотрю, — улыбалась мама и переводила взгляд на газету. Но все равно она смотрела *не так* — Сергей это ясно видел.

Зато отец сразу все понял и оценил. Он смотрел на рисунок именно *так* — восторженно и восхищенно. Он показал газету Хомикиным «папане» и «мамане», сам спустился к газетному киоску и закупил «на память» с десяток экземпляров «Костра». А утром на стуле у своей кровати Сергей обнаружил прекрасный «альбом для рисования» с глянцевыми, жестяной прочности листами и зеленый железный ящичек с выдавленными в нем шашечками — набор взрослых акварельных красок.

За один день слава просто навалилась на Сергея.

Сволочь Петька Назаров даже подобострастно спросил у него:

— А тебя не просили еще что-нибудь для газеты нарисовать? Они могут попросить.

Сергей смутился. Эта мысль не приходила ему в голову.

— Да, — неопределенно сказал он, — понимаешь... Но вообще...

— А хочешь, — сказал Петька, — давай дружить? Хочешь, сядем вместе? Хочешь, пойдем после уроков ко мне домой? У меня есть две рапиры. Я тебе покажу свои книжки.

И Сергей неожиданно для себя сказал:

— Ладно, давай.

Ему не хотелось садиться к Петьке — тот недавно грозился доложить о револьвере, — не хотелось обижать коротышку Гриню, но что-то его уже понесло.

— Знаешь, Гриня, — сказал он Годину, — я пересяду к Петьке Назарову. — И, чтобы как-то оправдаться, пояснил: — Я ненадолго, ладно? На десять дней. Он мне покажет свои рапиры.

Сергей пересел к Петьке и после уроков пошел к нему смотреть рапиры. Он честно старался вызвать в себе дружбу к Петьке, но никакой дружбы не получалось. И в Петькиной квартире все, начиная от бабки, черной от платка до ботинок, кончая

спортивными рапирами, скрещенными над Петькиной кроватью, Сергею не понравилось.

Петька влез в ботинках на кровать, снял одну рапиру, спрыгнул, согнул левую руку кренделем над головой и стал старательно колоть воздух, притопывая правой ногой.

— Вот так это делают, — сказал он.

Сергей засмеялся. Рука, согнутая дурацким балетным кренделем! Разве настоящие мушкетеры унизили бы себя такой немужской позой?!

— Пусть это будет шпага д'Артаньяна, — уклончиво сказал он.

— Это же не шпага, — покровительственно поправил Петька, — это рапира. Спортивная. Видишь, у нее на конце шарик. Это чтобы не уколоться. Смотри, как ее надо правильно держать. Видишь?

Петька взрослыми шагами ушел на кухню командовать злой черной бабкой, а Сергей поиграл сам с собой, помахал рапирой и заскучал.

— Покажи книги, — сказал он, когда Петька вернулся.

— Хочешь «Судебную медицину»? Колоссальная книга! Там есть про *всё*!

«Судебная медицина» действительно оказалась потрясающей книгой. В ней, правда, было про *всё*. Сергей листал ее с болезненным любопытством.

— Твой отец — следователь? — спросил он.

— Нет, — сказал Петька, — он ответственный работник.

— Ну ладно, — сказал Сергей, — я пошел. Дома будут ругаться.

А через два дня Мария Федоровна спросила его в классе:

— Это верно, Рязанов, что ты для «Костра» готовишь новый рисунок?

Сергей онемел.

— Может быть, ты и для школьной художественной выставки сделал бы что-нибудь большое?

— А я уже делаю, — вдруг ляпнул Сергей, — я рисую картину маслом.

Почему он это ляпнул, как он это ляпнул — Сергей не знал. Он никогда не рисовал маслом, даже не представлял себе, что значит рисовать маслом. Просто, спасаясь от меньшей лжи, ухватился за большую.

Неделю он жил надеждой, что все — и выдуманный рисунок для газеты и картина маслом — постепенно забудется. Но ровно через неделю Мария Федоровна спросила, скоро ли он закончит работу. «Скоро», — ответил Сергей. И еще раз десять говорил: «Завтра. Скоро принесу». А потом однажды утром не свернул направо за трамвайными путями к школе, а пошел прямо. К реке. В школе звенел звонок, а он шагал к реке, и каждый шаг его был преступным. Сергей остро чувствовал свою отверженность и свое одиночество, слоняясь со своим разоблачительным портфелем между угольными курганами порта, читая заводские штампы-надписи на причальных тумбах или от нечего делать плюя с высоты гранитной набережной в холодную, чугунную воду. Он остро чувствовал отверженность и одиночество во дворе, играя с ребятами и сидя за обедом дома. Он совершил преступление — солгал, и теперь самый маленький шаг его был новой ложью.

— Ну как наши дела? — спрашивал отец за обедом.

— Хорошо, — лгал Сергей.

Мама прикасалась на ночь теплыми губами к его лбу — проверяла, нет ли температуры. Он не имел права на этот поцелуй. Утром он набивал портфель книгами и тетрадами, нужными по расписанию, — и это было ложью. Враньем были и сам портфель, и будильник, поставленный на семь часов утра, и горячий завтрак, с которым его ждала мама. Враньем была и поспешность, с которой он съедал свой завтрак и выбегал за ворота. Теперь у него была масса свободного времени, и он мог бы, например, подфутболить пустую папиросную коробку, валявшуюся на дороге. Но он проходил мимо. Он надолго застывал у киновитрин, но фотографии не заставляли его фантазию работать. Фантазия Сергея теперь работала только в одном направлении — она упорно искала выход. Заболеть? Схватить воспаление легких? Чтобы мама и отец готовились его похоронить, а потом... Или забраться тайно в трюм морского парохода, устроить себе среди ящиков и тюков маленькую темную комнатку, заснуть и проснуться где-нибудь у берегов Африки, и слушать, как булькает за бортом океанская вода?

В груди у него все время звенел остренький звоночек. Он заглушал все привычные городские шумы, мешал Сергею понимать то, что ему говорили ребята. И когда боль, питавшая этот звоночек, стала уже совсем невыносимой, когда тяжесть незаслуженных маминых поцелуев совсем подавила его, Сергей однажды перешел по мосту на левую сторону реки, разделся и двинулся к воде.

Войти в чугунную, каменную воду сейчас было так же противоестественно, как, скажем, босиком прыгнуть в сугроб. Сама пустынная поверхность реки — даже пароходы, готовясь к зимовке, попрятались в затоны — угрожала Сергею. Казалось, войти в реку — нарушить какой-то страшный закон. Да и не должна была вода впустить в себя человека.

Но она впустила. Сергея удивил ее легкий, по-летнему ласковый всплеск. На мгновение вода показалась горячей, и только пальцы, сквозь которые продавливался маслянистый, с прожилками водорослей ил, сразу же почувствовали ледяной холод. Сергей ступал осторожно, боясь порезаться, — здесь, рядом с мостом, и летом никто не купался. Зайдя в воду по грудь, Сергей начал окунаться. Он окунался с головой и, когда выныривал, видел над собой темную громаду моста, машины, двигавшиеся по нему, кирпичную мешанину домов на правой стороне реки. А от моста к нему уже бежали люди...

В сторожке у моста Сергея растерли спиртом, одели и спросили:

— Кто таков?

Сергей молчал.

— Да вот портфель его, — сказал человек в форменной шинели, враждебно рассматривавший Сергея. — Сейчас увидим, что это за утопленник на нашу голову!

Дальше события разворачивались сами собой, и Сергей не обращал на них никакого внимания. Он прислушивался к тому, что делается у него внутри, и иногда осторожно покашливал: не начинается ли? Он равнодушно шел за форменной шинелью, равнодушно поднимался по школьной лестнице, равнодушно что-то говорил Марии Федоровне и наконец вместе с ней пришел домой, где все по-настоящему должно было начаться и кончиться.

— Где ты был? — спросил отец. — Где ты был вчера, сегодня, позавчера, во все те дни, когда ты лгал нам? Нам всем — маме, Марии Федоровне, отцу, своим товарищам?

...Сергей не заболел. Он удивительно перенес купание. Но в классе к нему приклеились два новых хлестких прозвища — Художник и Утопленник.

Впрочем, эти два прозвища скоро забылись.

3

В третьем классе Сергей начал читать. То есть он читал и раньше — сборник адыгейских сказок, например. Или рассказы о животных-героях. Но раньше он мог свободно оставить книгу для того, чтобы выбежать во двор на свист Сявона. Теперь, раскрыв первую страницу «Трех мушкетеров» или «Спартака», он слышал только свист или шорох, который доносился к нему со страниц романа. Жизнь книги никогда не кончалась для Сергея на последней странице. Даже если героя настигала смерть. Жизнь книги продолжалась на улице, куда Сергей выходил, чтобы купить в магазине хлеба или отнести в сапожную мастерскую ботинки отца. Теперь он не звал с собой Хомика или Сявона: «Айда, вместе сбегает». Сергею нужно было одиночество. Одиночество забрасывало его в Древний Рим, он брел по обочине тротуара (хорошо, если рядом мчался поток дождевой воды), а сам в это время, собрав остатки разгромленных отрядов Спартака, напал на римлян, и короткий древнеримский меч бешено сверкал в его руке. Уже было праздновавшие преждевременную победу легионеры поспешно отступали, а Сергей бросался к раненому Спартаку и... Вообще смерть Сергей из книг вычеркивал. Он находил десятки способов помешать врагам убить или отравить героя. Он всегда вовремя приходил к нему на помощь — распиливал тюремную решетку, стрелял в палача, убирал чашу с ядом или даже посылал в Древний Рим маленький современный броневик, или прилетал туда на самолете, чтобы в самый критический момент сражения склонить воинское счастье на сторону рабов и гладиаторов.

В третьем классе Сергей еще не научился прочно соединять название книги с именем писателя. Писатель еще не был нужен ему. Писатель даже мешал. Сергей обиделся и разочаровался, когда его убедили, что «Три мушкетера» и все «Двадцать» и «Десять лет спустя» — сочинение. Любая книга с ее напряженной жизнью, опасностями и приключениями казалась ему слишком большой, слишком значительной, чтобы ее мог создать один человек.

И только одного писателя Сергей запомнил — Жюль Верна. Запомнил потому, что невзлюбил. Жюль Верн раздражал его несправедливым отношением к слугам. Слуги — Жюль Верн сам об этом рассказывал! — совершали все главные подвиги: защищали слабых, жертвовали собой, добывали провизию, но все результаты их подвигов — благодарность спасенных, любовь прекрасных женщин — немедленно приписывались хозяевам, а сами слуги покорно ожидали, пока их унижительное бескорыстие понадобится еще раз. Сергей ясно видел: совершается вопиющая несправедливость, которая сама по себе обязательно заставила бы слугу возмутиться. Но тут вмешивался Жюль Верн, произносил несколько слащавых фраз, и слуга, подобострастно раскланиваясь, отступал.

После каждого такого эпизода Сергей откладывал книгу. Читать было противно.

Но вообще-то книги пока редко доставляли ему огорчения. Они открывали такой огромный мир событий, что сама его безбрежность заставляла сердце сжиматься сладким предчувствием счастья, уверенностью, что и ему, Сергею, найдется место в этом гигантском мире штормов, путешествий и необыкновенной любви.

Да, и необыкновенной любви! Никто никогда не видел Сергея играющим с девчонками. Никто не писал на стенах: «Сергей плюс Нина (Люба, Вика, Зина и т. д.) равняется любовь». Не было для этого оснований. Но девчонки всегда потрясали Сергея. Он постоянно чувствовал себя в зависимости от них. И когда Сергей шагал по обочине тротуара (чтобы встречный прохожий, толкнув, не перебил связного течения фантазии) и «в уме» отправлялся по следам Дерсу Узала или искателей «Острова сокровищ», он выбирал для своего путешествия героиню. Это было очень нелегким делом. В классе училось четырнадцать девчонок, и трое из них — высокомерная Лана Петровская, подвижная и крепкая, как мальчишка, Зина Скибина и паникерша Ада Воронина — одинаково нравились ему.

4

— Па, — спросил однажды Сергей, — ты читал «Дерсу Узала»?

— Не читал.

— А «Остров сокровищ»?

— Нет.

— А «Трех мушкетеров»?

— Нет, — насторожился отец. — А что?

— Да я, — сказал Сергей, — хотел тебя спросить, видел ли ты живую кабаргу? У нас в зоопарке нет. Но раз ты не читал...

— Ты у Жени спроси, — посоветовал отец. — Пойдем к тетке обедать — ты и спроси.

— Ладно, — кивнул Сергей. И вдруг отец взорвался:

— Не «ладно», а «хорошо»! По-русски надо говорить! Сколько ни проси тебя — все как о стену горохом.

— Хорошо, — покорно сказал Сергей.

5

Любимой шуткой третьего класса было нагружать добряка Гриню всеми мыслимыми общественными нагрузками. Едва становилось известно, что третий «Б» должен выделить на дежурство по школе двух санинструкторов, над партами взвивался целый лес томимых страстным нетерпением рук.

— Уже обдумали? — радовалась активности своих воспитанников Мария Федоровна. — Скажи ты, Чекин.

— Гриню Година, — выпаливал Хомик и, обессиленный, плюхался на парту — таких трудов стоило ему не расхохотаться.

— А ты, Назаров?

Петька поднимался спокойненько, вежливо склонял голову перед Марией Федоровной и елейно произносил:

— Гринечку.

— Камерштейн?

Эдик Камерштейн, новичок в третьем «Б», кивал, хотя и без особого энтузиазма:

— Година.

Мария Федоровна уже начинала что-то подозревать и принималась за девчонок:

— Николаевская?

Длинная Николаевская, сгорая от смущения, долго вытягивалась над партой. Казалось, конца этому не будет.

— Ну же, девочка, не горбись, — подбадривала ее Мария Федоровна, — век сутулиться будешь!

А где-то внизу, под партами, стлался угрожающий шепот:

— Година!

И длинная, несчастная Лида тихо пищала:

— Година.

Класс смешливо и облегченно вздыхал и нацеливался на очередную девчонку. Подвох был явным.

— Это нехорошо, несерьезно! — сердилась Мария Федоровна, — Вы несерьезно относитесь и к своему товарищу и к своему доверию. А ведь и Годину и всем вам еще предстоит стать взрослыми... — Она поднимала Иванникова: — А ты что думаешь?

Староста Иванников переставал смеяться — положение обязывало! — и называл новую фамилию. Мария Федоровна успокаивалась, успокаивался и класс. Ребята понимали: Иванников — староста, ему иначе нельзя.

И только Гриня чего-то не понимал. Он краснел, но не от смущения, становился невыносимо серьезным и из-под своей коричневой челки преданно, как в тот первый день, когда он схватил ее за палец, смотрел на Марию Федоровну.

Дежурил Гриня не въедливо. Никогда не делал замечаний старшеклассникам и вообще тем, кто сразу ему показывал, что никаких его замечаний слушать не будет. Но красную повязку носил охотно и старался почаще попадаться на глаза дежурному учителю или директору.

Смеялись над Гриней не зло, и он добродушно сносил все насмешки. Врагов у него не было, не было и близких друзей. Правда, к нему потихоньку стал прибиваться Петька Назаров, у которого тоже ни с кем не было настоящей дружбы, и новичок Эдик Камерштейн.

Новички всегда начинали с дружбы с Гриней Годиным. На переменах, когда одиночество совсем невыносимо, они в толпе бешено носящихся, разгоряченных ребят безошибочно отыскивали спокойную, улыбающуюся, лучащуюся готовностью откликнуться физиономию Грини.

Иногда новичок надолго привязывался к Грине, просился к нему на парту. Но вскоре новичка уносил азартный поток, который на переменах проносился мимо Грини. Гриня к таким потерям относился философски, не ревновал, не рвал демонстративно дипломатические отношения, не требовал назад свою тетрадку. Как ни странно, предлоги для ссор обычно отыскивали сами бывшие друзья — их тяготило чувство вины перед Гриней. Ссора кончалась, как только у новичка, становившегося своим в классе, исчезало смущение перед Гриней. Тогда приходила очередь смущаться Годину. Гриня словно извинялся перед своим бывшим другом за то, что с самого начала не предупредил его, что в классе есть куда более достойные ребята.

Эдик Камерштейн тоже начал с дружбы с Гриней, тоже с его помощью познакомился с другими ребятами, но с Гриней не поссорился, хотя и стал относиться к нему чуть иронически. А Гриня привязался к Эдику гораздо сильнее, чем это случалось с ним до сих пор. Гриня понял, что этот сутуловатый, тонкорукый мальчик не обидит его.

Сергей давно искал случая сблизиться с Камерштейном. Его, как и Гриню, что-то притягивало к Эдику. Вот хотя бы костюм — поношенный, не очень опрятный, с чернильными пятнами на рукавах, но совершенно *взрослый*. За право носить такой костюм Сергей отчаянно воевал дома с самого первого класса.

— Ты просто не понимаешь, — убеждала Сергея мама, — как красиво и здорово ходить, не пряча ноги от солнца и ветра, — И облачала его в короткие бархатные штанишки.

Мама не понимала: Сергей хотел быть как все. В своих коротких штанах он глохнул под градом насмешек. Правда, домашнее сражение за длинные брюки он выиграл довольно скоро, но его всегда могли нарядить в какой-нибудь невыносимо яркий джемпер, в какую-нибудь обезоруживающе нелепого покроя рубашку.

Эдик никогда не знал такой войны. Он оказался и единственным человеком, не заметившим ярко-красных лыжных штанов, в которых Сергей однажды заявился в школу.

Очередная мамина фантазия, одобренная отцом, — в вопросах воспитания родители должны быть едины! — стоила Сергею страшнейших мучений. Посмотреть на пылающие праздничным кумачом, невиданные штаны прибежала ребята из соседних классов, спускались мальчишки со второго этажа.

— Вот этот? — спрашивали они и показывали на Сергея пальцем.

— Этот! — отвечали им.

— Эй! — кричали Сергею. — Почем материал брал?

— Монах в красных штанах!

Гнусные штаны сразу же сбросили Сергея со всех с трудом завоеванных школьных ступенек куда-то к дуракам и идиотикам. Даже Гриня Годин вел себя так, будто Сергей навеки опорочил себя ужасным проступком.

Издерганным, ненавидящим родителей («Спокойнее, спокойнее! — скажет отец. — Что, собственно, произошло? А ты не можешь стать выше этих насмешек?») выходил Сергей из школы. У ворот собралась негустая толпа. Ожидали его. «Сейчас я объясню им, — лихорадочно искал выхода Сергей, — я при чем, если родители...» Но ему и слова не дали сказать.

— Монах в красных штанах! — преградил ему дорогу плотно сомкнувшийся хор.

— Ребята, — сказал Сергей, — я же не...

Тут его толкнули. Сергей оглянулся — широкое веснушчатое улыбающееся лицо Гришки Кудюкова показалось ему отвратительным. Сергей нагнулся, схватил камень-ракушечник и изо всей силы швырнул его в толпу. Кто-то крикнул. Толпа расступилась.

Чтобы не встретить знакомых, Сергей свернул в сторону. Решил квартала два обойти стороной. По дороге его окликнули:

— Рязанов, разве ты здесь живешь?

Оказывается, он обогнал Камерштейна. Меньше всего Сергею хотелось бы сейчас встретиться с этим тонкоруким новичком, меньше всего он хотел выглядеть дураком в его глазах.

— Разве я сам? — путаясь, заговорил Сергей. — Что я, хотел? А если бы их так родители одели?

Эдик согласно кивнул. Сергей смотрел на него с подозрением:

— Тебя так никогда не одевали?

— В детстве, — улыбнулся Камерштейн, — еще до школы.

У Эдика была поражающая Сергея улыбка. Она странным образом казалась продолжением его тонких рук, его острых, смущенно выпиравших из-под пиджака лопаток. И в то же время она была защитой этих тонких рук, этих смущавшихся самих себя лопаток. Невозможно было представить Камерштейна дерущимся с кем-нибудь. Невозможно было представить такого отпетого хама, которого не удержала бы эта улыбка, которому не захотелось бы понравиться человеку, умеющему так просто, так умно, так нежно и с таким чувством собственного достоинства улыбаться.

— Вообще-то я им дал! — сказал Сергей. Он испытывал сильнейшее желание *показаться* Камерштейну. — Как шархнул одного! Сразу замолчал. А ты дал бы на моем месте?

Вопрос был ехидным. Важно, чтобы Камерштейн сам признал Сергеево превосходство.

— Не знаю. — Острые лопатки под пиджаком смешно приподнялись.

— Не знаешь! Скажи: не дал бы!

— Может быть, — согласился Камерштейн.

— Скажи: не дал бы!

— Пожалуй, не дал бы.

Сергей обиженно замолчал. Это было не по правилам, Камерштейн не должен был соглашаться. Он, Сергей, ни за что бы не согласился. И никакой мальчишка не согласился бы, а Камерштейн согласился, словно он в десять раз умнее Сергея, словно он взрослый. Надо бы запомнить этот прием и тоже вот так скромненько, но наповал паразитить им какого-нибудь настырного противника.

— Это правда, — спросил Камерштейн, — что тебя дразнят Ласточка-Звездочка?

Сергей насторожился, но ничего оскорбительного в тоне Эдика не услышал.

— Раньше дразнили. Только я тем, кто дразнил... — Сергей запнулся и с неожиданным великодушием сообщил: — А еще меня дразнили Художник и Утопленник. Вот я злился! Честное ленинское!

Эдик засмеялся по-своему, мягко и необидно, и вдруг Сергей понял: Камерштейну и не пришлось бы *давать*. Даже если бы он явился в школу в дурацких красных брюках, никто бы над ним не издевался, потому что Эдик не стал бы стесняться самого себя, своих красных штанов. Он улыбнулся бы нежно и твердо, и каждому стало бы понятно: «Что делать, если штаны красные? Что ж тут такого? А если нету других?»

Да и вообще трудно представить Эдика выпутывающимся из таких положений. Договорился он, что ли, со своими родителями?

— Вот здесь я живу, — сказал Эдик и показал себе под ноги. — Зайдем?

Сергей удивился:

— А разве здесь живут?

Под асфальт рядом со стеною старого дома, защищенные решетками, уходили две довольно глубокие, выложенные камнем ямы.

— А чем плохо? — сказал Эдик.

Они вошли в ворота, обогнули насквозь прокопченный керосиновой гарью двухэтажный дом, спустились по сбитым деревянным ступенькам и оказались в гудящей примусами темноте.

— Постой, не двигайся, — предупредил Камерштейн, — сейчас зажгу свет.

Тусклый свет неуверенно задрожал в несильной лампочке.

— Испорченный выключатель, — объяснил Эдик. Он тянулся к высоко укрепленному черному рычажку. — Сам выключается. Проходи в дверь, пока я свечу.

Сергей ткнулся в серую дощатую дверь и робко постучал.

— Да входи! Там только бабушка и дед.

Но Сергей не решался, и Камерштейн, отпустив выключатель, двинулся в темноте к Сергею. Сергей слышал его дыхание, чувствовал прикосновение тонкой руки, отыскивавшей его руку, и Сергею хотелось продлить эту минуту темноты, с которой, ему казалось, и начнется их дружба.

В квартире Камерштейнов горел свет. Он горел в первой комнате, где совсем не было окон, и во второй, окна которой выходили на улицу. Должно быть, электричество здесь не выключали никогда.

Бабушка и дед сидели под окнами. Комната длинная, у дверей полусумрак, под обеденным столом густая тень, яркие солнечные пятна под окнами.

— Баба, — сказал Эдик, — это Сергей. Он еще не был дома.

— Сейчас я вас накормлю, — сказала бабушка. — Раздевайтесь, мойте руки.

— Дед, — сказал Эдик, — это Сергей.

Дед, совсем не похожий на Эдика, высокий, широкоплечий, с толстыми, веселыми губами, с хитровато свернутым набок большим, клоунским носом, поднялся навстречу, протянул руку.

— Школьный приятель Эдуарда? Будем знакомы. Дед Эдика.

«Приятель» было очень взрослым словом, оно поднимало Сергея, показывало, что к нему тут намерены относиться серьезно. Рука у деда была большая и осторожная, глаза внимательные и вежливые: смотрели, но не осматривали. Кумачовые брюки дед просто не заметил, не стал он и задавать Сергею лишних вопросов: как учится, что им задали на завтра, разрешили ли родители задержаться после школы... Сергею не нужно было придумывать ответы, а деду трудиться над вопросами. Обоим удобно, как и должно быть.

Вообще в темноватой, сырой и не очень опрятной квартире Камерштейнов Сергей сразу же почувствовал себя удобно и свободно. Не было здесь стеснительной

зависимости от вещей, как в квартире у Хомика, не было подавляющей зависимости от взрослых, как дома или даже как у Сявона. За столом Сергей не стал чиниться — съел борща и даже попросил добавки. А потом, хоть ни дед, ни бабушка из комнаты не ушли, они с Эдиком остались будто бы вдвоем.

— Мой стол, — показал Эдик заваленный книгами и тетрадами небольшой столик на покосившихся ножках. — Ты читал Вальтер Скотта?

— Не читал.

— Хочешь, я тебе дам «Айвенго»? Знаешь, какая книга!

— «Айвенго» я читал, — сказал Сергей.

— Так это же Вальтер Скотт написал! И вот еще «Квентин Дорвард».

Книги на столе были зачитанными, с потемневшими переплетами, с округлившимися углами на срезах страниц.

— Знаешь, когда мне дед стал дарить книги? — спросил Эдик. — Когда мне исполнился год. Тогда он мне подарил полное собрание Вальтера Скотта. А на следующий день рождения — Жюль Верна.

— Жюль Верна я не люблю, — сказал Сергей.

— Правда? — удивился Эдик. — За что?

— Понимаешь, он... ну, несправедливый. У него слуги все делают, а хозяева — герои...

Эдик слушал внимательно, а дед вдруг сказал:

— Интересно.

Оказывается, он тоже слушал.

Потом Эдик одну за другой показывал Сергею свои книги, и Сергей, к собственному и Эдика удовольствию, говорил:

— Читал. И «Аскания-Нова» читал.

— Ты любишь про зверей? — спросил Эдик.

— Ага. Очень. Вот есть книга! «Джерри-островитянин!» Про собаку.

— А «Белый клык» читал?

— Рассказ?

— Нет! Рассказ — это сокращенно, для детей. Я полную читал!

— У тебя есть?

— Есть.

— Дашь почитать?

— Спрашиваешь!

— А какая книга тебе больше всех нравится? — спросил Сергей.

Эдик задумался, и Сергей сам поторопился ответить:

— Мне — «Три мушкетера», «Спартак», «Как закалялась сталь». — Он поколебался и добавил: — И еще «Джерри-островитянин». И еще тоже очень нравятся «Дерсу Узала», «Остров сокровищ». — Сергей вздохнул: перечень получается слишком уж большим.

Было уже совсем поздно, когда Сергей собрался домой. Эдик пошел его провожать.

— А ты любишь рисовать? — спросил Сергей.

— Люблю. Срисовывать.

— И я.

Они торопились спрашивать: «А ты?» — торопились отвечать: «И я!» Они были счастливы оттого, что думали и чувствовали похоже, спешили убедиться, что у них есть еще и еще много общего...

— А ты не обидишься, если я тебя буду называть Ласточка-Звездочка? — спросил Эдик.

— Сколько хочешь! Никогда! — горячо сказал Сергей. Он и правда не чувствовал сейчас ядовитого привкуса в этом так много неприятностей принесшем ему прозвище. Даже напротив, когда Эдик его произносил, оно нравилось ему. Просто даже очень нравилось.

— Знаешь, — сказал Сергей, — я тебя познакомлю с ребятами нашего двора. Знаешь, какие у нас ребята!

Дома ему за опоздание устроили скандал.

— Но ведь я был у Камерштейна! — возмутился Сергей.

Снилось ему что-то счастливое, и проснулся он с ощущением огромного счастья, которое ждало его.

6

Сергей по-настоящему привязался к школе. Он как бы заново увидел это высокое здание с широченными коридорами-залами, с паркетным полом, по которому превосходно скользили кожаные подошвы ботинок. Оно было светлым и веселым. Сам воздух в нем был веселым и даже азартным, как на спортивной площадке двора, где каждый вечер совершались отчаянные физкультурные подвиги, где Сявон, Гайчи, Сагеса всякий раз придумывали себе новые головоломные задания и выполняли их с величайшим презрением к опасности.

Теперь азартная атмосфера удачливости, веры в себя захлестнула и Сергея. Он стал ввязываться во все игры, которые ребята затевали на переменах, и сам себя удивлял неожиданной летучей прыгучестью, безоглядной решимостью, когда надо было дерзким трюком обезоружить преследующего партнера, прыгнуть с высоты, которая раньше казалась доступной только парашютисту, или вдруг на уровне третьего этажа оттолкнуться от пожарной лестницы и стать на карниз рядом с ближайшим окном, по общему «а-ах!» почувствовав, что ты сделал. И все это Сергей будто не сам делал, его несли, толкала на немислимо радостные и отчаянные поступки любовь к Эдику Камерштейну.

На самых скучных уроках стоило теперь Сергею посмотреть на первую парту, где рядом с Гриней Годининым сидел Эдик Камерштейн, на деловито выпирающие под серым пиджаком лопатки Штейки, Тейки — так Сергей ласково сокращал фамилию Эдика, — на узкую кисть его левой руки — Эдик был левша, — смешно и трогательно сжимавшую «автоматическое» перо, как он испытывал обжигающий прилив счастья...

Лучше, конечно, было бы сидеть вдвоем. Но для этого нужно уговорить Петьку Назарова пересесть к Грине — последнее время они сошлись, даже подружились. Но пересесть Петька не хочет. Ходит он с Гриней потому, что любит командовать. Пересесть же к Годину Петька считает для себя унижительным.

Сергей давно презирал Петьку — он насквозь видел его двурушничество, — а тут еще Назаров пристрастился к дурацкой шутке. Полушутке-полупредательству. Ткнет Сергея на уроке локтем в бок или больно ущипнет и тут же, скорчив постную рожу, тянет из-под парты руку и шепчет:

— Мария Федоровна, а Рязанов дерется!

Мол, попробуй тронь — и правда учительнице доложу.

Шутку эту Петька не сам изобрел, но нравилась она ему особенно. Сергей пытался обороняться тем же, но никак не мог сравниться с Петькой в настойчивости.

— Перестань, — просил Сергей, — надоело!

— Надоело?! — торжествовал Петька. — А для кого я заточил карандашик?

И он ткнул острым грифелем в тыльную часть кисти Сергея. Страхуясь, Петька на этот раз слишком высоко поднял руку, и потому Мария Федоровна заметила и его поднятую руку и ответный удар Сергея.

— В чем дело? — спросила она.

Петька растерялся: фискалить, когда на тебя смотрит весь класс, опасно, но ничего другого он придумать не смог.

— А Рязанов дерется! — плаксиво заныл он. — И сейчас грозит...

— Встань, Рязанов! — приказала Мария Федоровна.

Сергей поднялся, независимо уставился в окно.

— Я спрашиваю: в чем дело? Почему ты ударил своего товарища?

Сергей презрительно хмыкнул: Петька — товарищ!

— Не хочешь со мной разговаривать? Очень хорошо! Я давно хотела повидаться с твоими родителями. Первый класс ты закончил с похвальной грамотой, во втором кое-как от троек отделался, а сейчас неизвестно, что с тобой творится. Пусть завтра придет мать или отец.

Сергей сел. Он не очень испугался. Отец в школе — это, конечно, катастрофа, но Мария Федоровна отходчива, она часто грозит, но не любит приводить свои угрозы в исполнение. Уже проверено: если на двух переменах проводить ее до учительской и, потупив глаза, убедительно повторять «Мария Федоровна, ну, Мария Федоровна...» —

то прощение обеспечено. Однако на этот раз положение осложнялось тем, что Сергей не был виноват. Он не мог просить прощения или просто канючить, повторяя имя учительницы — это исключено. Надо было заставить Назарова взять свои слова обратно. Это Петька должен был идти на перемене к Марии Федоровне и канючить за Сергея.

— Скажешь Марии Федоровне, что наврал! — прошипел Сергей.

— И не подумаю! — опасливо отодвинулся Петька и предупреждающе сложил кисть лодочкой: сейчас же поднимет руку!

— Тогда после уроков на Спуск!

После уроков Сергей торопливо выбежал во двор и остановился у ворот, где его и Назарова уже ожидали добровольные секунданты — Мезенцев и Лариков. Камерштейн и Хомик стояли в стороне. Они не могли быть секундантами, они были за Сергея.

— Ну что? — спросил Мезенцев. — Где Петька?

Сергей пожал плечами. Он хотел выглядеть спокойным, хотя на самом деле немного нервничал: Петька ниже его, но шире в плечах, грудастей, и чем все это кончится, еще неизвестно.

Назаров, однако, не спешил. Делать ему в школе было нечего, а он все не показывался на порожах.

— Сдрейфил, что ли? — спросил Мезенцев.

— Выйдет — у него спросишь, — сказал Сергей.

Когда Назаров все-таки подошел к воротам и, будто не замечая ребят, хотел выйти на улицу, Мезенцев преградил ему дорогу.

— Ты что, сдрейфил? — брезгливо спросил он.

— Кто сдрейфил?

— Тогда пошли, — сказал Сергей.

— Никуда я не пойду! Мне домой надо.

— К маме? — спросил Мезенцев. — Дай ему, Сергей! Пусть разозлится.

— Я так не могу, — сказал Сергей, — пусть сопротивляется.

Мезенцев и Лариков прижали Назарова к стене. Они бы строго следили, чтобы схватка протекла по всем рыцарским правилам, чтобы Петьку не ударили недозволенным приемом, но трусящий Назаров вызывал у них отвращение. Трус лишал себя преимуществ, на которые имел право порядочный человек.

— Пойдешь? — спрашивал Мезенцев и толкал Петьку к Ларикову.

— Пойдешь? — спрашивал Лариков и толкал Петьку к Мезенцеву.

— Хулиганы! — вдруг взвизгнул Петька. — Я маме скажу! Я скажу отцу, он вам покажет!

А через день впервые за три года Сергей стоял в директорском кабинете. И раньше, пробегая мимо обитой клеенкой двери, он чувствовал холодок под ложечкой. Таинственная черная дверь, таинственный, почти невидимый директор. Ребят, которые сюда попадали, знает вся школа, их можно по пальцам перечесать. К таким ребятам Сергей, почти как к самому директору, испытывал что-то вроде почтительного трепета. Они переступали некий недоступный Сергею предел, они были или отпетые хулиганы, или выдающиеся отличники.

И вот Сергей сам здесь.

Раньше Сергей считал, что у директора все директорское. И лицо, и характер, и пронизательность, и даже фамилия — А. К. Гницевич, без всяких объяснений, как и положено директорской фамилии, вывешенная под толстой стеклянной полоской на клеенчатой двери. Директор был выше и учеников и учителей. Мария Федоровна могла, например, устать, рассмеяться, быть раздраженной. К ней можно было подластиться, иногда даже без особых угрызений совести обмануть. Директор был непроницаем и для раздражения, и для смеха, и для лжи. Когда какие-нибудь учителя не справлялись с классом, звали директора. Директор справлялся. Он все мог. Он мог, например, исключить из школы. Хорошо это или плохо? Пожалуй, хорошо. Так, во всяком случае, Сергей думал раньше. Должен же кто-то *справляться!*

Сейчас, когда Сергей стоял почти рядом с директором, он не то чтобы утратил веру в непроницаемость директора, — нет, но он слышал, как порывисто дышит, скрипит под грузноватым директорским телом пышное полукресло-полустул, чувствовал мужской, не очень опрятный запах табака, которым пропитан воздух в кабинете, а главное — видел, как быстро — слишком быстро — меняется выражение

директорского лица: директор слушал, что ему рассказывал Петькин отец, и его лицо и все тело словно стремилось поспеть за этим рассказом — то сковывались какой-то нестойкой серьезностью, то вспыхивали такой же нестойкой, недиректорской веселостью.

Наконец Сергея заметили.

— Пришел? — сказал директор, и его массивное лицо обрело привычную Сергею непроницаемость. Только теперь она показалась какой-то тоже непрочной и усталой. Впрочем, только на минуту. Сергей увидел спокойные, внимательные глаза — одинаково спокойные и внимательные, когда директор смотрел на него и когда он переводил взгляд на Петькиных отца и мать, на Петьку, на Сергеева отца.

Теперь Петькин отец, толстый мужчина в защитной гимнастерке без петлиц, тихо кричит. То есть не кричит, но кажется, что кричит, — так он возмущается:

— Устроили коллективное избиение! И вот он — организатор этого избиения! Это элементы!.. Это квалифицируется...

У Петькиного отца рыхлое, толстое лицо, на котором не две щеки, как у всех нормальных людей, а несколько щек и крошечных щечек. Щечки под глазами, щечки на подбородке и даже над бровями. И каждая щечка водянисто налилась кровью, покрылась сеточкой зыбких морщин. Назарову-старшему ужасно жаль своего сына. Он бы растоптал, с землей бы смешал Сергея. Сергей в поисках сочувственного взгляда поворачивается к Петькиной матери — ему сейчас совершенно необходимо сочувствие, — но и Петькина мать чужая. Сергею еще ни разу не приходилось чувствовать взрослых такими чужими себе. Вот и директор — Сергей смотрит ему в глаза, но там, кроме непроницаемости и спокойствия, ничего не видит. И постепенно Сергей начинает освобождаться от страха и неуверенности — так с ним бывает всегда, когда он что-то окончательно решает. Справедливости тут ему ждать нечего. На то эти взрослые и взрослые. Пусть говорят, что хотят, он будет смотреть на портрет бородатого великого физика, висящий на стене.

— Вы на одной парте сидите? — спрашивает директор.

Сергей вяло кивнул. На этот вопрос он мог ответить.

— Значит, товарищи?

Сергей уставился на физика.

— Враги? Или ты решил не отвечать?

— Вы видите — целая система, школа запирательства... Это элементы...

Сергей смотрит на физика.

— Па-азвольте! — вдруг перебивает Назарова-старшего отец. — Так про ребенка! Па-азвольте!

— Так! — кричит Назаров-старший. — Надо учиться обобщать и видеть корни! Надо видеть зародыши! У меня опыт...

Назарову-старшему не хватает воздуха, и он стремительно выкатывается из кабинета. За ним поднимается Петькина мать.

— Михаил Захарович устает на работе, — говорит она и грозит Сергею пальцем: — А ты у нас в доме бывал!

В кабинете сразу спадает напряжение, и директор становится приветливой.

— Передайте Михаилу Захаровичу, чтобы он не беспокоился, — говорит он вслед Петькиной матери, — мы примем меры. — И поворачивается к Сергееву отцу. — Мальчишки дерутся, — говорит он, — и с этим мы пока не можем до конца справиться. Но коллективно бить одного — это, согласитесь...

Дома отец пропустил Сергея в дверь, захлопнул замок и сказал матери:

— Опозорил! Ровно месяц будет сидеть дома. После уроков — никуда! Домой — и выполнять домашние задания! Никаких книжечек! Читает он, видите ли, запоем! Полезных мыслей набирается! Отец и десятой части того не прочел, чего он уже нахватался, отцу некогда было, работал, воевал, строил ему светлую жизнь. И вот, пожалуйте!

А через два дня к ним пришел дед Эдика Камерштейна. Он долго вытирал ноги о половичок, откашливался, любезно представлялся матери Сергея, даже руку ей смешно поцеловал, а потом попросил разрешения поговорить с Александром Игоревичем.

Дед засиделся. Когда он уходил, его провожали отец и мать. Сидя в кухне, Сергей слышал, как они суетились.

— Поверьте! — проникновенно говорил отец. — Поверьте!

Дед Эдика что-то добродушно прогудел, и дверь за ним закрылась. Потом в кухню вошел отец.

— Можешь идти гулять, — сказал он. Отец был весь красный, словно только что побрился. — Иди, иди! Одного я не понимаю: почему ты сам мне всего не рассказал? Или ты отца врагом своим считаешь?

В четвертом табеле Сергею снизили по дисциплине отметку.

7

В четвертом классе Сергей поссорился с Камерштейном. Два месяца они не разговаривали. Это было ужасное время — шестьдесят дней тайных мучений и ревности, самолюбивых маневров, подстроенных встреч и дворянски гордого равнодушия.

Все началось с того, что Эдику не понравились мальчики из Сергеева двора. Апрельским вечером Сергей зазвал его, он хотел, чтобы ребята потрясли воображение Тейки. И все в тот теплый вечер, пахнувший сырой землей цветочных клумб и кухней, складывалось, по мнению Сергея, как нельзя лучше. В такие вечера на ребят будто само собой накатывает восторженное буйство, они носятся по двору, жадно заглатывая оттаявший воздух, выискивают еще не преодоленные препятствия, которые сейчас же, немедленно надо преодолеть. И, разумеется, орут. Просто так орут. От избытка сил. А когда стемнеет, когда красные, синие, желтые абажуры нальются теплым светом, когда на первом этаже занавесят окна плотными шторами, а из третьего подъезда, щелкнув замочком сумочки, выбежит неизвестно когда научившаяся отбивать высокими каблуками пулеметную дробь Галка Сапожникова (недавняя Гача Сонляча, ныне студентка финансово-экономического техникума), ребята словно наденут войлочные туфли, притихнут, соберутся в кружок и шепотом, сгущающим вокруг них темноту и таинственность, начнут «травить баланду».

Тихо тогда становится во дворе. Пять раз крикнет чья-нибудь мать, и никто не отзовется. И только когда из окна выглянет отец и угрожающе позовет: «Вячеслав! (не «Славик», как звала мать). Почему не отвечаешь матери?» — откуда-то из темного, укрытого акацией угла недовольно ответят:

— Так еще нет одиннадцати!

— Иди надень пиджак, — скажет неумолимый родитель.

— Так не холодно же!

Но спорить бесполезно. На карту поставлен родительский авторитет.

— Или — или, — говорит отец. — Ты знаешь.

Без Славки что-то разлаживается — рассказчику для энтузиазма не хватает одного слушателя, слушателям кажется, что рассказчик выдохся. Нарушенная вмешательством взрослых, улетучивается таинственность, исчезает поэтическая настроенность.

— Эх! — досадует кто-то. — По домам, что ли?

— Да рано еще! — сопротивляется энтузиаст.

Но слово уже сказано. Надо отправляться домой.

Вот так все должно было идти и в тот вечер. Так он и начался. Вначале руки у всех пропахли азартным кожаным запахом волейбольного мяча — играли не в академический волейбол, а в доморощенные «отнималки», — потом выжимали эхо в продутой сквозняком подворотне, запускали друг в друга пустой консервной жестяной — игра «в баночку» — и, наконец, в сумерках приступили к головоломному «колдуну», когда и убегающий и преследующий лезут друг за другом на дерево, взбираются по гладким столбам трапедии, когда от падения и несчастья ребят оберегает только бешеное, страстное вдохновение игры.

Эдика дворовые встретили равнодушно и немного настороженно, и он сразу же смущенно сжался, даже лопатки его выперли из-под пиджака больше, чем обычно.

Когда делились на партии в «отнималки», произошла заминка: никто не стремился заполнить Эдика в свою партию.

То, что к тонким рукам этого парнишки мяч не «прилипает», было видно с первого взгляда. И правда, мяч к рукам Тейки не «прилипал». Эдик ухитрялся выпускать самые верные мячи, неожиданно оказывался на дороге своего же раздраженного партнера.

Тейка, извиняясь, обескураженно улыбался. Но никто не отвечал ему на его улыбку. Ее просто не замечали. Не замечали и самого Тейку. Ему не пасовали, его оттесняли в сторону («Все равно упустишь!»). И когда Сявон, оправдывая неудачу своей партии, запальчиво сказал: «Так у нас на одного игрока меньше!» — Эдик тихо отошел в сторону и уселся на скамейку.

— Чего ты? — подбежал к нему Сергей.

Но его тут же отозвали:

— Ты играешь или нет?

Еще раз Эдик попытался включиться в игру «в баночку». Но швырять жестяной в это худое, ломкое тело было как-то неудобно, и когда Тейка перебежал меловую черту, игра затормаживалась, а пасующий демонстративно промахивался. Или вообще не кидал банку.

Сергею было жалко Тейку, но, захваченный общим азартом, он надолго упускал его из виду или даже раздражался вместе со всеми неловкостью и неудачливостью своего лучшего друга. В конце концов, Эдик своею неприспособленностью бросал тень и на него, на Сергея. Накалившийся, разгоряченный, пронесился он мимо сиротливо сидевшего Тейки, бросая на ходу: «Ну как?» или: «Нравится?» Тейка не отвечал. Потом он встал и, не прощаясь, пошел к подворотне.

— Ты куда? — встревоженно догнал его Сергей.

— Домой, — не оборачиваясь, ответил Тейка.

— Почему?

— Не нравится.

— Не правится?!

Тейка не ответил.

— А что ж, — запальчиво сказал Сергей, — может, у вас лучше? В вашем дурацком доме? У вас там и двора настоящего нету, и ребята — не ребята.

Камерштейн не отвечал.

— Ну и ладно, — сказал Сергей, — думаешь, плакать буду?

Эдик ускорил шаги.

— Тоже мне еще! — сказал Сергей. Он был растерян: так все шло хорошо, а вдруг получилось плохо.

— Эй! — крикнул Сергей. Нельзя же было все так оставить! — Федул, чего губы надул?

Эдик не повернулся и не ответил. Сергей остановился. Его подмывало сильнейшее желание бежать, догнать Тейку, схватить его за плечи и ласково трясти, пока он не улыбнется своей застенчивой и твердой улыбкой, пока все опять не станет на свое место. Но это было невозможно. И Сергей медленно побрел назад.

На следующее утро Сергея у школы остановил Хомик:

— Ты с Камерштейном поссорился?

— Да не то что...

— А чего ж он тогда с Петькой Назаровым разговаривает?

С тех пор и потянулись ужасные шестьдесят дней, во время которых Сергей убеждался, убеждался и убеждался, что без Тейки жить не может, что весь мир имеет для него смысл только тогда, когда он дружит с Тейкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Та же короткая дорога вела сейчас Сергея от дома к школе: юридическая консультация, типография областной газеты, швейная фабрика, поворот направо, косая тень от школы — и нырок в колодезь школьного двора. Как всегда, Сергей вставал пораньше, чтобы захватить несколько доверительно тихих школьных минут. Но теперь все было не то... И не только потому, что окна типографии и юридической

консультации были бессильно защищены длинными бумажными наклейками, а за окнами швейной фабрики, как в большинстве городских магазинных витрин, виднелись мешки с песком, — все мысли Сергея, когда он бежал, ежась под холодеющим солнцем, были не школьными. Сергей бежал на уроки, выслушав очередную тревожную сводку, и думал лишь о событиях на фронте. И потому коротенькая дорога, на которой за шесть лет столь часто его потрясали такие глубокие и порой, казалось, безысходные переживания, неожиданно становилась равнодушной, как путь в любой другой конец города.

В школьном дворе Сергей отыскивал в группе мальчишек сутуловатую, будто нахохлившуюся, фигуру Тейки, аккуратно подтянутого Хомика и спешил к ним.

— Чего не подождал? — говорил он Хомику. — Я сразу за тобой вышел.

И слегка хлопал Тейку по спине, по выпирающим лопаткам:

— Выпрямись!

— Ты еще спал! — говорил Хомик.

А Тейка смущенно улыбался, протягивал Сергею очень узкую, очень тонкую ладонь и на минуту выпрямлялся.

— Что слышали? — спрашивал Сергей.

— Один наш сбил двух «мессеров», а потом пошел на таран...

— Вчера тоже был таран.

Они собирали, коллекционировали эти тараны. Подходил Гришка Кудюков.

— Ну чё? Победа будет за нами, а города за вами? — Он сплевывал, и глаза его, натываясь на равнодушно-выжидательный взгляд Сергея, светлели.

Школу не отдали под госпиталь, но спортивный зал и три примыкающих к нему класса заняла радиотехническая воинская часть. В школьном дворе всегда стояли два крытых грузовика-автобуса с радиоантеннами над крышами. На переменах ребята почтительно окружали эту технику, но из уважения к военной тайне никаких специальных вопросов дежурному бойцу не задавали. Впрочем, в ребячьей толпе обязательно находился какой-нибудь лопоухий. Этого ничто не сдерживало.

— Что это, дяденька? — тянул лопоухий руку. — Чтобы ловить немецкие передатчики? Вы уже много поймали, да? А это что?

Боец терпеливо и загадочно улыбался. Он знал, что лопоухому ответят сами ребята. И ему отвечали.

— Чугунок! — стучал кто-нибудь по честной круглой голове.

— Может, ты еще что-нибудь спросишь? — спрашивал другой.

— А что? — удивлялся лопоухий.

Эта непонятливость ужасно провоцировала ребят. У них руки чесались выбить дурь из круглой головы, но при солдате старались держаться солидно. Они старались держаться на уровне тех вопросов, которые все-таки задавали дежурному бойцу и на которые дежурный соглашался отвечать.

— Почему мы отступаем? Первое — неожиданность, — выкладывал боец тысячу раз известное всем, — потом отсутствие второго фронта...

Разговоры о втором фронте вызывали у Сергея неясное чувство. Сергею и не хотелось, чтобы немцев начали бить после того, как у них в тылу зашевелились англичане. Он жаждал победы *своими* руками. Он жаждал победного оправдания всего того духа предвоенной торжественности и парадности, которого было так много и в школе, и в газетных статьях, и в кинофильмах типа «Если завтра война».

В остальном все в школе шло, как будто до войны. Каждые сорок пять минут нянечка в перепачканном мелом и чернилами халате включала электрический звонок или, если в городе были перебои с электричеством, подходила к лестничному пролету с медным колоколом в руках. И, как всегда, высыпали из классов жаждущие разминки, засидевшиеся ребята. Они толкались и прыгали, как до войны, но шума производили все-таки меньше. Они не сделались сдержаннее — их просто стало меньше. В классах появились свободные места: город потихоньку эвакуировался.

К эвакуировавшимся относились враждебно: «Смываетеесь? Накликаете на город беду? Едете отсиживаться в теплые места?»

Уехала с родителями Ада Воронина, в которую еще в пятом классе влюбился Сергей. Уехали Лана Петровская и Нина Скибина.

— Кто следующий? — присматривался Гришка Кудюков к Грине Годину и Петьке Назарову. — Гриня, когда?

Гриня сконфуженно улыбался. К седьмому классу он подрост, уже не был самым маленьким в классе. И сконфуженно улыбался совсем не так часто, как раньше. Он был звеньевым пионерского отряда, членом редколлегии стенной газеты и вообще привычно избирался и выдвигался. Сконфуженно Гриня теперь улыбался, лишь когда хотел защититься от таких, как Гришка, когда хотел напомнить, это он тот самый Гриня Годин, от которого ничего особенного требовать нельзя.

— Как родители, — пожимал он плечами.

— А как думают мамуля и папуля? — привязывался Гришка.

— Да, Гринечка, расскажи-ка нам, что думают твои мамахен и папахен, — предательски пытался укрыться за спиной своего лучшего друга Петька Назаров. — Вот ребята же спрашивают.

И Петька подхалимски подмигивал Гришке. Но подлый Петькин маневр моментально разоблачался.

— Заткнись ты, выдра! — говорил Гришка.

Уроки тянулись вяло, никто не хулиганил. Просто трудно было думать сейчас о подлежащем и сказуемом или о том, в какой точке встретятся два катера, вышедшие из пункта А и пункта Б. Раньше Сергей на много лет вперед думал о себе только как о школьнике. Теперь школа неожиданно стала казаться детством, в котором сейчас даже совестно задерживаться. Хомик, например, собирался поступить на завод, Лариков тоже.

— Вы же семиклассники, выпускной класс! — возмущалась математичка. — Какую цену будут иметь оценки в ваших свидетельствах?!

И лишь Аннушка на время возвращала ощущение ценности и важности школьных занятий. Она не возмущалась, как математичка, не уговаривала, как немка. «Война окончится, а вы еще будете мальчишками и девчонками, но учиться вам будет уже поздно!» — Аннушка так давно работала преподавателем, что будто *сама* стала школой! Ей не нужно было напрягаться, чтобы убедить себя и ребят, что самое важное для них — заниматься, она и не пыталась большей строгостью или требовательностью сопротивляться разболтанности класса, она просто не замечала этой разболтанности и была с ребятами *как всегда*. Может быть, и ребята были с нею поэтому *как всегда*.

На каждом уроке Аннушка коротко сообщала о событиях на фронте или читала отрывки из писем мужа и сына, с первого дня войны ушедших в армию добровольно. Этих писем ждали всем классом...

В четверг второй недели сентября Аннушка с утра вошла в класс, хотя в этот день по расписанию ее уроков не было.

— А мы не готовились к литературе... — затаили на задних партах.

Аннушка сжала губы, лицо ее приняло замкнутое выражение — так она всегда переживала, пока рассеется дурное впечатление от чьей-нибудь глупой или неуместной шутки.

— Ребята, — сказала она, — завтра старшеклассники поедут в колхозы. Надо женщинам и старикам помочь собрать урожай. Младшие, по шестой класс включительно, остаются дома. Мы же с вами не старшие и не младшие, поэтому решено разрешить мальчикам-семиклассникам добровольно поехать в колхоз. Девочки и те мальчишки, которые не поедут в колхоз, продолжают занятия в школе.

— А учителя с нами поедут? — спросил Гришка Кудюков.

— Я поеду с вами.

— А тем, кто не поедет, завтра приходите на занятия? — спросил Петька Назаров.

В тот день ветер впервые принес в город странный, замораживающий звук. Даже не звук, а глухое дрожание воздуха. Не прислушивайся — нет его, прислушиваешься — вот оно, не усиливающееся и не ослабевающее. Сам звук будто рождался и гас где-то под землей, а в город, обтекая и обволакивая его, доносилось беззвучное, увалистое эхо. Ночью, когда город затих, звук немного прояснился, отделился от собственного эха, в нем появились едва заметные перепады, рокошующие вершины. Он был объемным и протяженным, нельзя было определить, где он рождался, где был более сильным. Чувствовалось лишь, что его источник гигантски велик.

Утром у ребят, собравшихся в школе, было одно и то же выражение в глазах: «Слышали?»

— Вы слышали, Анна Михайловна? — спросил Хомик у Аннушки, тревожно глядя на нее. — Как же теперь? Все равно поедем?

— Слышала, — сказала Аннушка, не поворачиваясь к Хомику. — Весь город слышал.

Подходившие ребята не сразу узнавали Аннушку — так изменили ее светлый платочек, которым она по-деревенски повязала волосы, простой поношенный костюм и туфли на низких каблуках. Другие учителя тоже сегодня нарядились в походную форму, но их разношерстные свитера, платья, брюки никого не удивляли. А вот Аннушку все почему-то ожидали увидеть такой же, как на любом уроке, — с иголки, строгой и подтянутой. Тем более что и держалась она сейчас так же, как на уроке, стояла в центре ребячьей группы, строго выпрямившись, как у доски или у учительского стола, — на уроках Аннушка никогда не садилась, даже оценки в журнал и «был» и «не был» проставляла после звонка, на перемене, — и неторопливо поворачивалась к тому, кто задавал вопрос.

— Анна Михайловна, — спросил Аба, — а наш город не... Я хотел спросить: не пустят сюда немцев?

— Я *верю*, — сказала Аннушка, — не пустят.

И в этом ее подчеркнуто не учительском голосе, в этом лично «я верю» впервые что-то заметно для ребят дрогнуло.

Как Аннушка хотела выглядеть невозмутимо спокойной! Она даже двигалась из-за этого мало, даже на часы не посматривала, хотя время уже подступало к восьми — последнему сроку сбора.

Рядом с Аннушкой и даже чуть впереди стояли Гришка Кудюков и Игорь Катышев — толстогубый, потеющий под тяжестью собственного могучего тела, голубоглазый малый.

Необыкновенные, удивляющие своей толщиной и шириной плечи Игоря Катышева никогда не обеспечивали ему самой минимальной независимости. Катышев был безнадежно, непробиваемо и добродушно глуп. В ответ на любой самый простейший вопрос учителя, — а Игорю давно задавали только простейшие вопросы, — Игореве лицо мгновенно покрывалось тяжеленными градинами пота, а губы накрепко сжимались. Разжать их было невозможно никаким разжевыванием вопроса, наведением, подсказками. Игорь лишь подавленно, как-то даже захлебываясь, потел — широкие мокрые пятна быстро расплзались от подмышек его рубашки к спине и груди. Едва ли к седьмому классу Игорь выучился читать и писать. Во всяком случае, меньше тридцати ошибок он не делал в самом пустяковом диктанте. В начальных классах Катышева дважды оставляли на второй год, но потом, наверно, в учительской махнули на него рукой — решили, чем скорее Игорь дойдет до седьмого класса, тем скорее уйдет из школы. С тех пор, по-прежнему никому не отвечая, выводя в тетради немыслимо толстые каракули, Игорь стал без задержки переходить из класса в класс.

На переменах Игорю приходилось куда труднее, чем на уроках. Медлительная, поражающая своей незащищенностью гора мускулов у каждого вызвала желание похлопать, ткнуть пальцем. За Игорем гонялись по коридору, прыгали с разгону ему на плечи, повисали по двое, по трое у него на руках. Игорь сопел, потел, убегал тяжелой рысью, но ни разу не попытался защитить себя, ни разу не пустил в ход свою силу против тщедушных малышей, безжалостно терзавших его.

Гришка Кудюков первым научил Игоря обращать свою огромную силу во вред другим. И Игорь признал Гришку, подчинился ему.

Теперь Гришка и его боевой слон стояли рядом с Аннушкой и подозрительно осматривали тех, кто подходил к ним: с вещами или без вещей?

— Эй, — крикнул Гришка Хомику, когда тот появился во дворе и растерянно стал искать, где свои. — Не видишь, что ли, Анну Михайловну?! Давай с вещами сюда! Спят-спят, — сказал Гришка Аннушке, — а потом приходят. А тут жди их!

— Чего здесь топчетесь? — сказал Гришка девчонкам, которые, сложив в классе портфели, вышли во двор и толпились вокруг Аннушки. — Катитесь отсюда!

Сергею Гришка сказал:

— Гля! Ласточка-Звездочка с вещами! Мама отпустила?

Абу Гришка встретил так:

— И этот — в защитники Родины! Анна Михайловна, что он там наработает? Пусть возвращается домой.

Аба ничего не ответил Гришке. Смолчал и Сергей, хотя некстати, при Аннушке, произнесенное прозвище резануло его. Если теперь кто-нибудь при незнакомом

называл Сергея Ласточкой-Звездочкой, незнакомый обязательно поражался: таким смешным и ядовитым казалось ему это прозвище. Все равно как если бы толстяка называли Кашеём. Когда Сергею было лет восемь, мамыны знакомые говорили, что он похож на девочку. Тогда, глядя на него, они с умилением вспоминали о собственных детях. Сейчас Сергей не пробуждал в них умиленных воспоминаний: некрасивая фигура, в глазах постоянная готовность к самолюбивому отпору... В общем, никакая не Ласточка, не Звездочка.

Следовало бы, конечно, оскорбиться на Гришку, но сейчас это почему-то было неудобно. Попробуй оскорбиться на такой энтузиазм!

— Он же без Камерштейна жить не может, — сказали из толпы ребят, окруживших Гришку, о Сергее. — Куда Камерштейн, туда и он.

Эдик покраснел, отошел в сторону.

— Аба, а ты без очков трубу на крыше увидишь? — спросили у Френкеля.

— Лучше возвращайся, — угрожающе сказал Гришка Абе. — Понял? Я на тебе воду буду там возить.

Никто не назначал Гришку старшим, никто не поручал ему отбирать и организовывать ребят. Но Гришка и не ожидал, чтобы его назначили. Он *добровольно* ехал в колхоз, и это должны были чувствовать все.

Перед самым звонком на урок в калитку вошел чистенький Гриня с портфелем в руках. Он, должно быть, специально так подогнал время, чтобы уже никого не встретить во дворе. Но увидел полный двор, растерялся и пошел прямо к Анне Михайловне. Гриня мог бы вообще не явиться в этот день в школу, мог бы придумать какое-нибудь полуправдивое объяснение, которое сразу бы разгадали все, но которое своей обычностью никого бы особенно не затронуло, мог бы просто сослаться на решение родителей. Мог бы, если бы он не был Гриней. То же, что он сказал, не лезло ни в какие ворота.

— Мама мне сказала, что я могу проводить вас до вокзала и, если надо, помочь что-нибудь нести.

Сергей не сразу понял, что в этой добропорядочной фразе так оскорбило его. Но, кажется, он первым закричал:

— Иди-ка ты со своей мамой!

В ребячьей толпе поднялась буря:

— Пошел вон!

— Катись!

— Всё, — прекращай шум, сказала Аннушка, взглянув на часы. — Едем на вокзал.

И мальчишки, сбившись тесной группкой, двинулись к трамвайной остановке. Аннушка со своим чемоданом шла за ними.

Рядом с Аннушкой никого не было. Девочки остались в школе, а ребята идти рядом с ней стеснялись: еще подхалимом посчитают. Сергею хотелось взять у Аннушки чемодан, но он тоже стеснялся. Сергей не так давно стал присматриваться к преподавателям — какие они? Раньше он просто не отделял их от школы и не очень задумывался, почему у немки или у географа на уроках шум, а у математички и Аннушки — муха пролетит! Какой предмет, такая дисциплина.

Отделять предмет от учителя Сергей начал после того, как однажды, роясь в отцовском столе, нашел и прочитал Аннушкино письмо. Оно было послано из пионерского лагеря, где после пятого класса целый месяц протомился Сергей.

«Сережа, — писала Аннушка, — здоров. Неплохо ест. Вероятно, к концу смены поправится. Мальчик он хороший, но уж чрезмерно застенчивый, трудно сходится с новыми ребятами и потому скучает. Пожалуй, слишком часто посещает библиотеку».

Письмо поразило Сергея: «...хороший мальчик... неплохо ест... поправится... скучает...» — это мог сказать какой-нибудь родственник, а не та Аннушка, которую Сергей видел на уроках. И он стал следить за Аннушкой с интересом и подозрением. Ничего нового он не замечал, но все равно ему казалось, что между ним и Аннушкой есть какая-то отдаленная родственная связь, которую надо тщательно скрывать в школе.

Эта родственная связь сейчас и тянула его к Аннушке, и мешала к ней приблизиться. Ему даже было немного жаль Аннушку. Хороший она классный руководитель, нет у нее любимчиков. Но лучше, если бы она была поближе к ребятам. Тогда ей не пришлось бы идти сейчас одной, тогда бы она давно узнала, как относятся

сами ребята к Грине Годину, которого в школе привычно считают хорошим общественником.

К трамвайной остановке подходили растянувшись. Предпоследним шел Аба. За Абой — со своим чемоданом Аннушка. Чемодан был, наверно, тяжелый, он мешал Аннушке идти быстро.

— Эй, стойте! — приказал Гришка своей компании и подбежал к Аннушке. Гришка был без вещей, его заплечный мешок тащил Игорь Слон. — Анна Михайловна, а чего ж вы сами? Стойте, я вам говорю! Анна Михайловна, построить их? А то, как бараны, не понимают человеческого языка.

— Ты не кричи, Кудюков, — сказала Аннушка.

— Так как же не кричать, если не понимают?

— Ты не кричи!

— Да с ними знаете как нужно! — сказал Гришка презрительно. — Эй, Френкель, подойди сюда!

Аба остановился.

— Ты что ж, не видишь? — спросил Гришка. — Возьми у Анны Михайловны чемодан.

— Возьми сам, — тихо сказал Аба, не глядя на Аннушку.

— Что-о?

— Возьми сам, ты без вещей. Твои вещи Катышев несет.

— Мы тебя в колхоз берем, а ты так разговаривать?..

— Я сам еду. Ты тут при чем?

Удивительно остро и точно Гришка чувствовал, будет ли Аба сопротивляться ему. Гришке много раз удавалось унижать Абу, заставляя его подчиняться, но Аба всякий раз быстро оправлялся от унижения. И Гришка научился улавливать момент, когда Аба был готов к новой схватке.

Вообще ко всякой независимости, ко всякой претензии на независимость Гришка был так же болезненно чуток, как Сергей к обидчикам. К тому же Аба был мал и слаб, не было у него какого-либо таланта или особо симпатичных черт, которые поставили бы его под безусловную защиту класса; он был до смешного близорук и потому, должно быть, был замкнут, ни с кем в классе близко не сходилась. Все это, казалось Гришке, само собой определяло Абино положение.

— Возьми чемодан, — сказал Гришка.

— Кудюков, иди вперед, — сказала Аннушка. — Я тебе запрещаю заботиться обо мне. И забери у Катышева свои вещи.

Но Гришка уже ничего не слышал:

— Возьми чемодан.

Аба молча попытался обойти Гришку.

— Возьми!

Сергей и Тейка остановились, потом повернули назад. Аба не был другом Сергея, но дело было не в этом. Гришка заметил Сергея.

— Хорошо, — сказал он Абе, — ладно. За-пом-ни. Там тебе не школа.

И двинулся мимо Сергея вперед.

2

Вокзал был самым военным местом в городе. Вся привокзальная площадь забита людьми в солдатских гимнастерках. У входа в вокзал — часовые. Штатские попадают редко. От военных их отличает не только одежда, но и суетливое, неуверенное, а у некоторых даже истеричное выражение лица. Будто все они опоздали или вот-вот опоздают на свой единственный поезд. Приятно было видеть, как эти люди поспешно расступаются перед ребятами. Приятно было видеть, как у военных и железнодорожников, к которым обращалась Аннушка, тотчас же лица становились вежливыми и внимательными.

В вагоне мальчишки прилипли к окнам, но поезд долго не трогался, и всем успели надоеть пустые, забитые досками продуктовые ларьки, серая бетонная платформа перрона, на которой не валялось ни одного окурка, ни одного яблочного огрызка, таблички «кипяток» над широкогорлыми, отполированными медными кранами, к которым длинными собачьими цепями были приклепаны полулитровые

алюминиевые кружки. От одного взгляда на эти вместительные кружки у Сергея к горлу подступала голодная изжога.

— Анна Михайловна, — спросил Хомик, аккуратно распорядившийся своими вещами, он повесил на крючок пиджак, уложил под полку рюкзак, — а кормить в колхозе нас будут?

— Обязательно, — сказала Аннушка. — Нужно только туда доехать. — Аннушка улыбнулась. — Спойте?

— Хотите нас отвлечь? — засмеялся Хомик.

— Отвлечь? Почему?

— Ну, вы такая... строгая. И — «спойте»!

— А все-таки давайте петь!

Кто-то затыкнул «Трех танкистов». С грехом пополам дотянули до половины, дальше слов никто не знал. Попробовали сочинить свой вариант песни. Получилось смешно, но все-таки песня не пошла. Вспомнили «Утро красит...», «Ты не бойся ни жары и ни холода...». Но и там спотыкались на втором, третьем куплете.

— Девчонок же нет, — сказал Хомик. — Они бы до конца допели.

Потом, неторопливо постукивая и то взмывая на собственных проводах, то опадая ниже насыпи, за окном поплыли телеграфные столбы. За столбами потянулись пыльные, побуревшие не столько от осени, сколько от позднего жаркого солнца чахлые лесопосадки и желтая, в плохо выбритой, колкой рыжей стерне степь. И эта сухая степь и летучая пыль над ней усиливали какой-то безнадежностью щемящее и почему-то стыдное чувство голода.

3

Ехали почти весь день. До четырех часов дня — поездом, потом, от станции до колхоза, — полупроходом.

Высокий хромой дядька, встречавший ребят на станции, не то удивился, не то огорчился.

— Приехали, — сказал он. — Слава богу. Ничего. Бог даст.

Про бога он упомянул напрасно. Мальчишки были настроены высокомерно, они и сами были уверены, что на селе с культурой не очень-то, а тут такое откровенное невежество! К тому же они рассчитывали на более торжественную встречу, на какие-то более внятные слова и обещания. А дядька, оседая, будто при каждом шаге проваливаясь правой ногой в невидимую яму, вел их к полупроходу и бубнил:

— Ничего. Бог даст...

Он не смягчил мальчишеские сердца даже тремя буханками хлеба драгоценной, уже забытой белизны, которые вытащил из кабинки и передал Аннушке. Мальчишки не знали, что хромой завхоз огорчен их очевидной молодостью, их очевидной непригодностью для того дела, ради которого они ехали сюда.

Хромой подождал, пока ребята влезли в кузов, посмотрел, как они помогают лезть Аннушке, и сел в кабину.

В кузове, жестком, грохочущем, прыгающем как будто отдельно от полупрохода, резко пахло степью — бензином, резиной автомобильных покрышек, пылью и соломой. На первом повороте, когда ребят прижало к правому борту, Хомик крикнул Аннушке о хромом:

— Вот тип! Сам сел в кабину, а вам не предложил!

И Хомик засмеялся тому, что от тряски ему не сразу удалось сложить эти простые фразы — слова прыгали и грохотали где-то в груди и во рту.

— Он же хромой! — возмутилась Аннушка. — Разве ты не видел, Чекин?

— Какой он хромой? — вмешался Кудюков. — Он от фронта прячется. Вон морда какая сытая! Ну ничего, мы этим куркулям покажем!

— Кудюков! — сказала Аннушка. — Я... — Но слова у Аннушки тоже дрыгали и грохотали во рту и груди, и она махнула рукой. — Приедем — поговорим.

— Да что говорить, — лениво отозвался Гришка, — что говорить?

4

Не так себе Сергей представлял село. Организованней, что ли. Село — уменьшенный до степени села город. На улицах тесно, один к другому дома под номерами, по которым почтальоны разыскивают тех, кому адресованы письма. А тут, почти не меняя вида открытой степи, почти не делая ее «закрытой», вдоль пыльно-белой дороги, которая сама откровенно приспособливалась к балкам и холмам, тянулось десятка три домов.

Пробыли в хуторе ребята недолго. Отсюда их еще целый час везли на подводе в бригаду, и Сергею казалось, что они уже окончательно, как в лесу, заблудились в этой со всех сторон открытой и абсолютно одинаковой степи. Если вдруг придется выбираться — мысль об этом становилась все более неотвязной, — то не сразу поймешь, куда идти.

На подводе, не считая возчика, ехало семь человек: Гришка Кудюков со своими адъютантами Игорем Слоном и Витькой Мешковым, Сергей с Тейкой, Аба и Хомик — бригада, сколоченная за пять минут час тому назад. И при очень неприятных обстоятельствах.

Когда полуторка доставила ребят со станции к правлению колхоза, оказалось, что это не конец пути. У правления ребят ожидали подводы, которые должны были развезти их еще до ночи по трем разным бригадам. Только там мальчишкам обещали ужин и возможность поспать. Это возмутило ребят. Они устали, хотели есть, они были намерены работать все вместе. Даже Аннушка была смущена и недовольна. И Гришке с ходу удалось зажечь маленький мятеж.

Сложив руки рупором и направив этот рупор себе под ноги — так в классе кричат под парту, чтобы ошеломить и запутать учителя, — он крикнул из-за Ваниной спины:

— Не будем работать! Вези обратно!

— Мы есть хотим!

Ребята подхватили:

— Не будем!

— Вместе!

— Вези обратно!

И председатель, уверенный, что только что произнес убедительную и яркую речь (в его речи было много «як на фронте... по-военному... як солдаты...»), что, так сказать, не посрамил села перед мальчишками-горожанами, растерялся.

— Так вас, значить, учуть! — выкрикнул он ту самую фразу, которую мальчишки от него ждали и которая могла их только развеселить. — Треба робить...

Его хохлацкий выговор усиливал общее замешательство и злое веселье. Шум усиливался и усиливался, пока его не оборвала Аннушка.

— Мне стыдно, — негромко сказала она, — что даже упоминание о войне не приводит вас в чувство.

— Таки велики хлопцы, а кричите як диты, — обиженно сказал председатель.

Кто-то не удержался:

— Мы не хлопцы!

— А кто же?

— Мы пацаны!

Это было уже чистым озорством, и председатель рассердился и сделал верный ход.

— Ось, — показал он на дорогу, — бачите? Прямо, прямо — и як раз до станции. Поняйте! А у мене и без вас дила много.

И он хотел скрыться за дверью правленческой хаты. Мальчишки, конечно, не возражали против обострения ситуации. Так веселее живется. Но скандалили они в расчете на то, что они тут позарез нужны, а им показывали дорогу домой. И бунт, в котором вылилось голодное раздражение целого дня пути, в котором сошлись и ребячья усталость и председательская деревянная прямолинейность, пошел на убыль. Председателя задержали и дали ему договорить.

— Чи буде от вас пидмога, чи нет, а вы кричите! — возмущенно сказал председатель. — Ще не робылы, а вже исты!

И стал объяснять, что в колхозе три бригады, или отделения, и что в каждом отделении есть что делать.

— А что за бригады? — спросил Гришка. — Далеко ехать?

— Первая — на ставке, — начал перечислять председатель, — другая...

— Ставок — это пруд? — перебил Гришка. — А рыба там есть? — И зашептал: — Мы едем туда. Вот Катышев, Мешков, — Гришка тыкал пальцем в теснившихся у крыльца ребят, — Суриков, Бондаренко, Попов и... Френкель.

Опасность такого подбора почувствовали и ребята и Аннушка. Все названные, кроме Френкеля, ходили в Гришкиных подручных.

— Нет, — сказала Аннушка, — так, Кудюков, у нас с тобой ничего не получится.

— Не доверяете?!

Гришка оскорблялся, наивно изумлялся, спорил, но выторговал себе только Слона и Мешкова.

— Френкель, разве ты тоже хочешь в эту бригаду? — спросила Аннушка Абу.

И тут Аба всех удивил.

— А почему нет? — упрямо сказал он. Вот тогда-то и Сергей сказал:

— Запишите и нас.

5

Странно — все по отдельности в колхозной работе казалось легким: вилы (рукоятка тяжелее самого инструмента!), кукурузные початки, картошка, солома, воздух. А сама работа была тяжелой. В ней была безграничная протяженность земли, ее тяжесть. Первое задание, которое им отмерил колхозный бригадир, потрясло ребят. («А чего вы? — удивился бригадир. — Наши бабы от зари до зари две таких делянки проходят».) В это задание вмещалось по меньшей мере десять «нормальных» заданий, таких, какими их себе представлял Сергей. Уже в середине дня невыносимо заболели мышцы, о существовании которых он раньше и не подозревал. Шея не справлялась с весом головы, дрожала перенапряженная поясница. Их мускулы раньше просто ничего не знали о земном притяжении и совсем не были готовы к борьбе с ним.

Это была сельская работа. Работа работ. Изначальная работа, о которой городские мальчишки ни своей памятью, на память своих городских родителей ничего не знали. Особенно досадным казалось перенапряжение, когда надо было нагибаться за такой легкой малостью, как картошка, собирать уже старые, побуревшие огурцы. Шагая, Сергей старался не сгибать ноги — мышцы не выдерживали тяжести тела. Земля, по которой он ступал и раньше казавшаяся ему огромной, теперь приобрела пугающую безграничность. Вязкая от пахоты, свинцово тяжелая, обширнейшая, лежала она перед ним. Утром, когда они только начинали работу, она казалась куда более доступной...

Лучше всех, пожалуй, держался крепыш и аккуратист Хомик. У него даже оказалась какая-то сноровка. Но и он к концу дня стал все чаще садиться прямо на землю и подолгу, сосредоточенно вытряхивать из полуботинок пыль.

Перед заходом солнца пришел Гришка с Игорем Слоном и Витькой Мешковым (они еще часов в десять утра куда-то смылись).

— Работаете? — презрительно сказал он и пошел к землянке.

На Гришке была чистая рубаха, брюки он заправил в носки — у блатных модно было носить брюки с напуском на смятые в гармошку сапоги. Гришка «напустил» брюки на носки — сапог он не имел. Это было что-то новое. Сергей с ненавистью посмотрел ему вслед.

— Слон! — крикнул он Игорю. — На тебе пахать можно, а ты с Кудюковым шляешься!

Катышев беззлобно ухмыльнулся. Он за себя не отвечал. За него отвечал Кудюков.

— Сами виноваты, — сказал Хомик. — А ты думал — он работать будет!

«Сами виноваты» — это Хомик только так сказал. Ясно же было, зачем Гришка рвался в эту дальнюю бригаду, куда Аннушке каждый день не добраться. И пусть бы себе ехал. Сам...

— И ты так думаешь? — спросил Сергей Тейку.

Тейка смущенно и устало шевельнул своими лопатками. Последнее время он как-то отдалился от Сергея, словно у него появилось что-то свое, недоступное Сергею. Правда, Тейку Сергей и не старался заразить своей ненавистью к Гришке. Тейке ненависть ни к чему. Слишком руки у него тонкие. С такими руками нелепо вмешиваться в какую бы то ни было свалку, и Тейка никогда не вмешивался — ни в

третьем, ни в четвертом, ни в шестом классе. Впрочем, и защищать Тейку было не от кого. Раньше Сергей всем показывал, что покровительствует Тейке, но потом убедился, что тихую и упорную самостоятельность Тейкиного характера разглядели и Гришка Кудюков, и его друзья. Во всяком случае, они его никогда не трогали. Может быть, до них тоже дошло обаяние мягкой, нежной и твердой Тейкиной улыбки, может быть, они понимали, что Тейка интересный, начитанный пацан? Во всяком случае, они признавали его в чем-то выше себя. Взрослее. Тейка никогда не приспособился, не заискивал, когда решал, как ему поступить. Он мог бы пойти против желания всего класса, — однажды он остался на уроке пения, когда все, даже девчонки, сбежали. Другому такое отступничество дорого бы стоило, а Тейку никто даже не упрекнул. Тейка всегда жил в том серьезном, взрослом мире, откуда все эти ребячьи счеты, драки кажутся пустяками, он всегда иронизировал над Сергеевой увлеченностью этими пустяками. И сейчас он не очень понимал Сергееву возбужденность. Во всяком случае, не считал то, что происходит, тем, чего не может быть.

— И Абе жить не даст, — настаивал на своем Хомик, — и ничего не сделаешь.

— Посмотрим!

— Аннушке нафискалишь?

Фискалить, конечно, не годилось.

— Я тебе скажу, Ласточка, Аба дурак. Чего он лез? Тоже храбрец. И будет его Гришка цукать, как только захочет.

— А если тебя?

— Я не Аба.

— А если?

— Ну, а что сделаешь? Один Слон троих стоит. А у Гришки нож, я сам видел. Понял? Здесь не школа.

— Нет, — сказал Сергей, — я не согласен...

Он не сказал, с чем не согласен. То, о чем говорил Хомик, было правдой. У Хомика, как и у Тейки, была нравившаяся Сергею способность говорить о себе правду. Не справится Хомик с Гришкой — он и говорит «не справлюсь». И не хвастается, не пыжится. «Не справлюсь» — и все! Но вот сейчас Сергею не нравится эта манера говорить о себе правду, хотя и возразить он ничего толком не может. Во всяком случае, ему куда приятнее чистое, ничем не подкрепленное Абино упорство...

— Вот увидишь, — сказал Хомик, — сегодня Абе достанется. И ничего не сделаешь.

Сергей вдруг вскочил:

— А ну, пошли в землянку! (Аба сегодня дежурил по кухне в землянке.)

Гришку в землянке они уже не застали. Аба сидел один. У него было потное, слепое — очки сбились на сторону, — напряженно-решительное лицо. Это было знакомое Сергею лицо...

Два года тому назад Сергея вместе с частью ребят из четвертого «Б», который вела Мария Федоровна, перевели в пятый «А». Там-то Сергей и познакомился впервые с Абой и в первый раз по-настоящему столкнулся с Гришкой.

Как-то после звонка на урок литературы Сергей вошел в класс и увидел пару — Гришку Кудюкова и Абу Френкеля, — увлеченную и разгоряченную странной игрой: оба партнера, толкаясь и цепляясь за парты, тянули каждый в свою сторону потертый портфель, из которого на пол сыпались карандаши, учебники, тетрадки. Партнеры были слишком не равны, но маленький Аба с потным (точь-в-точь таким, как сейчас), ослепшим — очки упали на парту — лицом почти не уступал крупному и плечистому противнику. Лицо Абы, бледное и напряженное, выглядело куда более решительным, чем лицо Гришки. И по Абиному лицу, по тому, как Аба морщился, но не отступал, когда Гришка выкручивал ему пальцы или старался отдавить ногу, Сергей понял, что здесь не игра.

Гришка все-таки вырвал портфель. Торопливо достал из него какую-то тетрадку, поднял руки над головой, чтобы Аба не помешал, и стал ее комкать.

— Это тебе за то, что не дал содрать, — сказал он. — В следующий раз хуже будет.

— Не дал и не дам, — сказал Аба.

— Повтори! — сказал Гришка.

— Не дал и не дам!

«Вот оно!» — почувствовал Сергей и сказал:

— И правильно. Зачем дряни давать списывать?

Он хотел это сказать спокойно, но в голосе билось давнее напряжение.

— Кто? — грозно обернулся Гришка. Кажется, он был даже доволен, что его отвлекли от упершегося насмерть Абы. — Кому жить надоело?

— Мне, — сказал Сергей.

И Гришка двинулся к нему через весь класс. Он шел, казалось, полный сокрушающей злой энергии: притронуся — и мгновенно упадешь пораженный. Он нес эту энергию неторопливо, будто даже накапливая ее с каждым шагом. Еще не коснувшись противника, он стирал его в порошок одним презрением. И вообще ему не в первый раз было так угрожающе двигаться, так управлять каждым своим пугающим движением. Гришка истово усваивал науку блатных, единственную науку, которая давалась ему без всякого усилия. Но это была наука запугивать, а не драться, и потому, когда Сергей, не выдержавший действительно томительного ожидания, пошел навстречу и первым нанес сильный удар в подбородок, Гришка не успел увернуться. Потом их растаскивали.

— Кончай драться! Аннушка!..

Еще с тех пор у Сергея с Гришкой все осталось невыясненным...

— Что? — спросил Сергей. — Гришка?

— Да так, — неопределенно сказал Аба, снял очки и пальцами протер стекла.

Он никогда не жаловался. Ни учителям, ни ребятам.

— Чего ж ты нас не позвал?

— Да ничего не было, — сказал Аба.

Ночью Гришка, Слон и Мешков на несколько часов исчезли. Утром они хрустели яблоками и разбрасывали вокруг землянки арбузные корки. Заметали следы. Они теперь исчезали каждую ночь. Воровали яблоки, арбузы, притащили двух гусей с птицефермы и днем уходили куда-то далеко в степь жарить их.

И чем удачнее были ночные налеты, тем презрительнее и нетерпимее становился Гришка.

Днем еще куда ни шло. Днем из хутора приезжали колхозники. Иногда вместе с ними появлялась и Аннушка — она путешествовала от бригады к бригаде. Тогда Гришка становился в ряд со всеми и часа полтора старательно работал. Держался он поближе к Аннушке, занимал ее «взрослой» беседой, — в конце концов, он был старше всех ребят. А вечером, когда Аннушка и колхозники уезжали в хутор, наступало Гришкино единовластие.

Однажды Сергей решил поговорить с Игорем Слоном. Он перехватил Слона по дороге на пруд.

— Слон, — сказал Сергей, — ты человек или не человек?

— Ты ж знаешь, как я к тебе отношусь, Рязан, — сказал Игорь Слон. — Я к тебе хорошо отношусь. Ты меня никогда не обижал. А Гришка тебя не любит.

— При чем тут Гришка? Я тебя спрашиваю: ты человек или не человек?

Но огромный Игорь вдруг смущенно попятился и забормотал что-то совсем бестолковое.

— Ты Гришку боишься?

— Боюсь, — сказал Слон и попросил: — Ты отойди, пусти меня. — И закричал: — Пусти, я говорю! А то ударю!

С Гришкой Сергей не пытался разговаривать. Гришка потому и вызвал у Сергея ненависть, что он плевать хотел на те слова, которые для Сергея имели такую силу. Сколько лет Аннушка разговаривает и с Гришкой, и с Сергеем, и со всеми! Если бы Гришке можно было что-нибудь доказать, она бы ему уже сто раз доказала.

В конце концов Сергей стал терзаться ненавистью целыми днями. Воображение ни на секунду не давало ему покоя, подсовывало картины унижения, которому Гришка уже подвергал Абу (Сергей подозревал, что и Хомику раза два доставалось, только Холик молчал).

Продукты, которые привозили на всю бригаду, Гришка получал сам и делил, как хотел.

Однажды Сергей прямо спросил Хомика:

— Тебя Гришка трогал?

— Мы с Гришкой в городе рассчитаемся, — уклончиво сказал Хомик. — Все равно скоро в город. А тут что мы сделаем? Вон руками Эдика только в шахматы играть.
Сергей яростно плюнул:
— Они же настоящие фашисты!
— Какие они фашисты! — сказал Хомик. — Блатных корчат.

6

Однажды Сергей решил. С утра он работал вяло, берег силы. Часов в одиннадцать, когда Гришка ушел на пруд, Сергей сказал Тейке:

— Пойду в хату перешнуруюсь. Шнурок порвался.

Сергей, конечно, мог посвятить Тейку в свой замысел. Но он опасался это делать по двум причинам. Во-первых, он мог еще не осмелиться сделать то, что собирался. А во-вторых, мог осмелиться, но потерпеть позорное поражение.

Землянка была на полпути к пруду. Сергей заменил истершийся шнурок куском шпагата и взял в углу, около холодной печи, старый, местами дочерна обожженный держак рогача. Сергей давно его тут приметил.

Выходя из землянки, Сергей споткнулся о низкий порожек и, чтобы унять волнение, пошел неторопливым, прогулочным шагом, как на трость, опираясь на держак рогача.

Сергей шел медленно, а сердце его торопилось. Оно стучало все быстрее, и Сергей незаметно для себя прибавлял и прибавлял шаг. Сейчас он придет на пруд и, если Гришка там, нарочно оттолкнет его рубашку и штаны и сядет на *его* место (у Гришки было свое место — небольшой травяной язычок, почему-то не вытоптанной скотиной). А когда Гришка ему что-нибудь скажет, Сергей тоже скажет: «Ты что, это место закупил?» Или нет, это не остроумно и не зло. «Земля у нас общая, мое-твое — это у фашистов. А у советских людей...» Нет, про советских людей он тоже не скажет, потому что это лишь рассмешит Гришку. Он ему скажет: «Пошел вон, тварь!» Это, конечно, то, что надо, но по-настоящему оно у Сергея не получится...

Гришка загорал; сидел в приспущенных и подвернутых снизу трусах и что-то старательно выдавливал у себя на ноге. Под коричневой кожей его медленно шевелились широкие лопатки, рельефно набухали мускульные веревки. Мускулистый парень был Гришка Кудюков, широкогрудый, словно созданный для спорта. А вот в одежде он не казался здоровяком — такое рыхловатое и морщинистое лицо было у него.

Когда Сергей ступил на тропинку, спускающуюся к пруду, — пруд лежал на дне широкой балки, перегородженной старой, затвердевшей, как камень, земляной плотиной, — Гришка оставил ногу и лег на живот. Но что-то помешало ему. Он приподнялся на локте, а правой рукой зашарил по траве под животом. Нашел комочек земли и кинул его в сторону. И в этот момент заметил Сергея. Их глаза встретились, и, как тогда, в ковше, когда Сергей потерял над собой контроль, сердце его загрохотало. Он уже не думал о том, что скажет Гришке, он хотел лишь поскорее добраться до него, скорее пройти все то, что оттягивало главное — драку.

Гришка встал. Лицо его, минуту назад размягченное и ленивое, мгновенно менялось. Только что оно изобразило суровую холодность — это Гришка заметил Сергея, потом стало напряженно-внимательным — увидел в руках Сергея палку; теперь оно улыбалось.

— Здорово! — сказал Гришка. — Это ты? А я подумал — Аннушка меня здесь накрыла.

Он сказал это так естественно, будто и вчера и позавчера так же мило здоровался с Сергеем, словно они с ним старые закадычные друзья.

— Привет, — ошеломленно сказал Сергей. — Это я, а не Аннушка. При чем тут Аннушка?

— Так Аннушки уже два дня не было. Думаю, сегодня зайвится и застучает меня здесь. А ты чего редко ходишь на пруд?

— Так, работа.

— А сейчас решил отдохнуть?

— Да вроде...

Сергей говорил и не понимал, что говорит. Каждое слово в этом дурацком разговоре уводило его все дальше от цели, воздвигало между ним и его выстрадавшим решением непреодолимую преграду. Нельзя же так говорить с человеком, которого ненавидишь, нельзя от такого разговора перейти к драке. Гришка смог бы. Появись тут Слон или Мешков, Гришка круто повернул бы. А Сергей не может.

— А ты не боишься плавать? — спросил Гришка. — Вода уже холодная. Солнце вроде еще ничего, а вода холодная. Я и то: нырну — и сразу на берег сушиться.

— Откуда здесь нырять?

Если Гришкино «здорово!» Сергей мог посчитать своей маленькой победой — Гришка все же испугался, — то теперь об испуге не могло быть и речи. Гришка вел разговор так, как хотел: «Я и то...» Ему было выгодно сейчас разговаривать с Сергеем, он и разговаривал. Сергей даже поймал себя на том, что ищет место, где бы раздеться, чтобы не затронуть Гришкин травяной язычок.

— А ну-ка, знаешь что, — сказал Сергей, — два квадратных метра травы на весь пруд, а ты один все занял. Двигайся! — И ткнул палкой Гришкины брюки.

— Кто занял?! — изумился Гришка. — Клади шмотки. Или нам с тобой не хватит?

«Нам с тобой» — это был уже настоящий комплимент.

В воображении Гришку было куда легче ненавидеть. В воображении Гришка не улыбался, не говорил дружески располагающим голосом.

— Говорят, — сказал Сергей, — вы ножички точите, финачами обзавелись? Интересно, для кого это?

— Какие финачи? — поразился Гришка. — Это Аба, что ли, натрепался? Смотри, обыкновенный складной.

Гришка поднял брюки, покопался в кармане, достал большой нож и открыл лезвие. Сергей, сжав палку, внимательно следил за ним. Ему показалось, что Гришка на мгновение напрягся. Но Гришка тотчас опять расслабился.

— Вот, смотри, — сказал он. — На хуторе магазин хозяйственный, там таких сколько хочешь. Двенадцать рублей. Попроси деревенских — тебе привезут.

— При чем тут Аба? — сказал Сергей, не двигаясь с места. — При чем тут Аба?

И все-таки Гришка не испугался. Он лишь хотел действовать наверняка. Шишки, разбитый нос, а то и еще какое-нибудь более серьезное повреждение — палка у Сергея увесистая, и дерется эта Ласточка-Звездочка зло и отчаянно — были ему ни к чему. Гришка на этот раз попался, что он сразу же и без лишних самолюбивых терзаний признал. Сейчас он просто маневрировал, ожидая, может, подойдут дружки. Не подойдут — Гришка все равно сегодня же вечером вернется к этому разговору. Сергей это прекрасно понимал, но никак не мог сделать решительного шага — дурацкий дружеский разговор ему мешал.

— Как же ты ныряешь в эту лужу? — тянул время Сергей. — Тут самая глубина — полметра. Нырнешь головой в грязь. А если камень?

— Надо уметь нырять, — сказал Гришка. — Надо не прямо в воду входить, а еще в воздухе выгнуться. Тогда тебя сама вода наверх выбросит. Не то что полметра — двадцати сантиметров хватит.

— Трепешься.

— Чего треплюсь! Сам по-топориному, думаешь, и другие так?

Гришка, щупая пальцами ноги пыльную и уже прохладную землю, двинулся к воде.

— Тут вообще-то и поглубже места есть. Знать только надо.

Он встал на краю невысокого сыпучего обрывчика, зябко шевельнул лопатками — под кожей мягко обозначились мускулистые веревки, — небрежно поднял руки над головой и, не сгибая ног и корпуса, слегка осел. Потом, оттолкнувшись будто одними пальцами ног, описал в воздухе короткую, но плавную дугу и вошел в воду. Прыжок и совсем бы получился красивым, если бы при толчке Гришка не обрушил с обрывчика увесистую глыбу земли, которая хлюпнула вслед за ним в воду.

«Раз, два, три, — начал Сергей считать секунды, которые Гришка пробудет под водой, — десять, одиннадцать... двадцать один... тридцать». Гришка явно вознамерился его поразить: загребет под водой в сторону и вынырнет где-нибудь, где Сергей не ожидает его увидеть. Старая шутка!

Сергей стал искать на поверхности пруда воздушные пузыри — след Гришкиного движения под водой. Пузырей было сколько угодно. Мутновато-серые, мелкие и

крупные, они копились у противоположного, заросшего камышом и болотистой травой берега. Но это были постоянные, неподвижные пузыри. Затянутые пылью. Пузыри, взрывающиеся на воде от дыхания человека, совсем не такие.

«Шестьдесят... шестьдесят пять... семьдесят». Сергей перестал считать и почувствовал, как стало тихо над прудом. Вот только он один стоит, и эти мутные пузыри, неподвижные, никогда не лопающиеся, и гладкая поверхность пруда, тихо млеющая под еще горячим, но уже не жарким осенним солнцем. Но не эту обычную степную тишину он слушал. Вот сейчас должны были раздаться шумный всплеск, фыркание, хлопки Гришкиных ладоней по воде, а ничего этого не было — тихо.

— Гришка! — крикнул Сергей. — Эгей! Выныривай!

И сам не поверил своему голосу — такой он стал неестественный. Гришка уже не мог вынырнуть — это было понятно по пугающей тишине, все накапливавшейся и накапливавшейся над прудом. Сергей схватил свои штаны, рубашку и, не надевая их, бросился по тропинке наверх, но на полдороге остановился, швырнул в сторону брюки и рубашку, подбежал к пруду и вошел в воду с того места, где Гришкины ноги обвалили ком земли. Здесь, сразу же у берега, было глубже, чем полметра, но все же не очень глубоко. Сергей все входил и входил в пруд, а вода едва поднималась до его груди.

Гришка недалеко уплыл — уже через десять шагов Сергей наткнулся на него. Самое страшное было нагнуться — Сергей с головой погрузился в воду — и подхватить Гришку под мышки. Гришка выскользнул из Сергеевых рук, словно не хотел подниматься на поверхность. Потом Сергей увидел посеревшее, как пузыри у противоположного берега, неживое лицо и поволок Гришку к берегу. Сергей постанывал от страха. Ему хотелось убежать, в спешке он дважды ронял тело в воду. У берега, на мели, Гришкино тело сразу стало тяжелым, и Сергей с трудом выволок его на пологое место.

В ковше, на плавучей базе, их учили правилам первой помощи утопающему. Сергей сгибал и разгибал безвольные Гришкины ноги, толкал их к животу. Сводил и разводил Гришкины руки.

— Ну же, ну же, — шептал Сергей, — ну!

Его бил озноб.

— Что же ты!

Потом Сергей увидел Слона и Мешкова и прикрикнул на них;

— Помогайте!

Минуты через две у Гришки изо рта хлынула вода, к лицу медленно стал приливать теплый цвет, он застонал и открыл невидящие, мутные глаза.

— Всё! — сказал Сергей. — Ожил. Ну, вы тут дальше сами. Я пошел.

Он двинулся по тропинке вверх, подобрал свои брюки и рубашку, отряхнул с них грязь — рубашка была безнадежно запачкана — и все не мог отделаться от недоумения: что же это он сделал? Несколько минут назад, когда он со страхом понял, что Гришка не выплывет, что он утонул, Сергей вдруг почувствовал огромное облегчение. С него свалилась гора, давившая много-много дней. Сергей тогда бросился бежать от пруда, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Он бежал, но понимал прекрасно: никого он не успеет найти так быстро, чтобы Гришку еще можно было спасти. Спасти, во всяком случае попытаться спасти, мог только он сам. А он убегал от пруда. Убегал до тех пор, пока не почувствовал, что на него наваливается еще более страшная тяжесть. Тогда он вернулся. И вот теперь Гришка жив. И, наверно, все опять, пойдет по-старому, и к Сергею опять возвратится напряжение, которое совсем недавно лишь на минуту оставило его.

7

Напряжение вернулось. Правда, было оно теперь не таким сильным, приглашенным брезгливостью. Гришка довольно быстро поправлялся. Он ходил за Сергеем.

— Я думал, ты фраер, — благодарил он его, — а ты человек. Ты думаешь, Гришка Кудюков ничего помнить не умеет? Теперь, если тебе что... Понял, да?

И он смотрел на Сергея сентиментально повлажневшими глазами.

— И матушка моя будет благодарить. А мне только скажи. Ну вот, хочешь, при тебе Слону в морду дам? Хочешь? А Чекин и Камерштейн тебя слушают? Если что, я их сразу... Понял? Ты им так и скажи: Кудюков задавит. Или я сам скажу. Хочешь? Ты мне жизнь спас!

Гришка благодарил по-своему, как мог, и Сергей путался в этом липком потоке злобности и доброжелательности. Потом Гришка стал требовать признательности за свою благодарность. Он перестал воровать продукты, которые ему привозили на всю бригаду.

— Ради тебя. Понял?

И вопросительно смотрел на Сергея: оценил? О том, как Сергей с риском для жизни спасал его, Гришка с восторгом рассказал Аннушке.

— Да никакого риска не было, — отмахивался Сергей, — близко это было, у самого берега.

— Как не было! — обижался Гришка, — Ты же плохо плаваешь! Я не знаю, что ли? Кому ты это рассказываешь?

В благодарности Гришка оказался неожиданно многословным, часто говорил «сердце болят», «моя матушка», «чувствую свои нервы».

Но потом все это, и Гришка и его благодарность, куда-то отодвинулось. Вначале случилось одно несчастье — простудился, купаясь в пруду, Хомик. Его перевезли на хутор, а затем отправили домой. А через неделю Витька Мешков получил из дому письмо, и оно сразу подтвердило тревожные слухи о бомбежках и необыкновенных пожарах в городе. «Это счастье, что вы уехали, — писала мать Мешкова, — я, по крайней мере, спокойна за тебя. Я надеюсь, что ваши воспитатели проявят благоразумие и не вернут вас в город, пока все это не кончится». Многие фразы в письме казались лишь намеками на какие-то особенно страшные события — мать Мешкова, конечно, опасалась военной цензуры.

Письмо показали Аннушке и, пока она читала, следили за ее лицом. Аннушка прочитала, сложила треугольник, вернула письмо Витьке. Аннушка знала не больше ребят, это было сразу видно.

— Чего же вы хотите?

— Мы еще долго здесь будем? — спросил Витька.

— Твоя мама, Мешков, просит, чтобы мы побыли здесь как можно дольше.

— А почему только ему одному пришло письмо? — тихо спросил Аба.

Аннушка поняла, что хотел сказать Аба.

— Не думаешь же ты, что все они... пострадали от бомбежки.

— Да, я понимаю, Анна Михайловна, — сказал Аба, как на уроке. Он не был убежден. И никто не был убежден.

— Ну, хорошо, дети, — сказала Аннушка. — Все может быть. Это верно. Это понимаете и вы и я. Что же дальше?

— Надо ехать в город! — сказал Аба. — Мы тут уже на целую неделю дольше, чем нам говорили. Мы не дети! Что мы, не видим? Забыли нас тут.

— Ты прав, Френкель, вы не дети, — сказала Аннушка. — Это у меня сорвалось. На войне все взрослые. Давайте поговорим серьезно: мы приехали сюда добровольно, работаем для фронта.

Но они не могли договориться. Аннушка знала не больше ребят. Ее одолевали те же сомнения, и мальчишки чувствовали это.

Ночью Сергея разбудили чьи-то всхлипывания. Прислушался — Тейка.

— Тейка, — испуганно позвал Сергей, — ты что?

Эдик не отозвался. Сергей присмотрелся — они с Тейкой лежали рядом, на одном соломенном матраце, — Тейка плакал во сне. Нос его жалобно заострился. Сергею стало страшно.

— Тейка, — толкнул он Эдика, — проснись.

Эдик быстро приподнялся, сел на матраце.

— Храпел? — спросил он виновато.

— Плакал. Что-нибудь страшное приснилось? Я аж испугался.

— Не помню, — шепотом сказал Тейка и удивленно провел рукой по щеке. — Слезы. Честное слово, первый раз в жизни. Ты когда-нибудь плакал во сне?

— Думал вечером о своих?

Тейка кивнул. Они замолчали. То, к чему они прикоснулись, было очень болезненным и непростым. Вернее, с начала войны стало непростым. И не только Сергею так казалось. Еще в поезде, когда они ехали из города сюда, в колхоз, к ним на скамейку подседа Аннушка. Она заговорила необычным для нее, обращенным лишь к Тейке, *закрытым* голосом:

— Эдик, твои родственники собираются уезжать из города?

— Бабушка больна, — смущенно и грустно и тоже *закрытым* голосом ответил Тейка, — а мама без бабушки не хочет, а дед — без мамы и без бабушки. Да и не верят они.

— Да, трудно поверить, — сказала Аннушка. — Во многое трудно поверить. И все же так оно и есть. Вернемся из колхоза — я обязательно поговорю с ними.

— Хорошо, — сказал Тейка.

Аннушка встала, тихонько коснулась его лба рукой. То ли погладила, то ли поправила волосы.

— Будем надеяться, — как взрослому, сказала она.

— Да, — тоже как-то очень взросло согласился Тейка.

— Чего это она? — спросил тогда Сергей.

— Спрашивала, собираются ли мои уезжать из города, — нехотя сказал Тейка.

— А почему именно твои?

Тейкины лопатки неопределенно приподнялись под пиджаком, ноздри иронически шевельнулись.

Сергей не стал повторять вопроса: он читал в газетах и слышал по радио о расстрелах в Польше и на Украине. Но он искренне не мог соединить с Тейкой какое-нибудь другое определение, кроме того, что он — Тейка. Тейка — это Тейка. Время от времени ребят в классе заставляли отвечать на разные анкетные вопросы: «Где работают родители? Национальность?» Кому-то требовались сведения. Сергей помнил, что Тейка на вопрос о национальности развел руками: «Отец — немец, мать — еврейка». — «Как же тебя записать?» — спросила учительница. «Пишите по маме, — сказал Тейка, — отец с нами не живет». Тогда в классе Тейкиному ответу немного посмеялись, однако не больше, чем другим таким же ответам.

...И вот сейчас они опять прикоснулись к этому.

Эдик охватил колени руками и замер.

— А ты веришь, — спросил Сергей, — в то, что пишут?.. Про...

— Расстрелы? И верю, и не верю.

— А дед и мать?

— Дед — не знаю. Дед молчит. А мать говорит, что это невозможно, что она никогда не поверит.

— И я, — сказал Сергей, — и верю, и не верю... И вот еще не могу понять: людей ведут на расстрел, они знают об этом и все равно идут и идут. Все равно умирать? Лучше же броситься — и кулаками, зубами, всем, что попадетс... Хоть одного. Если меня поведут, я... — Сергей скрипнул зубами и смутился.

Тейка снисходительно улыбнулся.

— Знаешь что... — Сергей задумался. — Давай уйдем отсюда. Хомик уже дома, и мы уйдем.

— Когда?

— А завтра же! — обрадовался Сергей решению, которое к нему только что пришло. — В крайнем случае — послезавтра.

— Куда же ты пойдешь? Всюду посты. Железнодорожный билет никто не продаст... И я с нашими договорился: в случае чего я с места не сдвинусь. Они меня будут искать. Если решат поехать... Буду ждать.

Сергей помолчал. Потом сказал:

— Все. Я решил. Утром уйду.

8

Утром Сергей не ушел. Надо было посоветоваться с ребятами, взять у них поручения домой.

— Иди, — сказали ему. — Дойдешь до города — напишешь, что и как.

Собрали деньги на железнодорожный билет. Аннушке решили ничего не говорить. Все равно она не имеет права отпустить Сергея одного.

Ушел Сергей на следующий день перед рассветом. Воздух в степи еще был неподвижным и густым, пахнущим земляной сыростью и холодом. Тяжелой и холодной была пыль на проселочной дороге. Она не дымилась под ногами Сергея, а вязко пружинила, как песок на берегу реки. План Сергея был прост: проселком, которым их привезли сюда, он выйдет на шоссе, попросится на попутный грузовик, а на станции попытается взять билет на поезд. Если же ему билета не дадут, то... Дальше Сергею не думалось, потому что земля, по которой он шел, сразу же представлялась ему непроходимой и необъятной.

Насколько она велика, он почувствовал уже к полудню. К этому времени он успел добраться только до шоссе. В ожидании попутной машины Сергей долго сидел в кювете, потом минут сорок шел по направлению к станции. Ни встречных, ни попутных машин ему не попадалось. Вначале это не очень тревожило его, но потом пустыньность широченной, накатанной сотнями грузовиков дороги показалась ему мертвенной. Он даже хотел спрятаться, когда услышал и увидел, что его догоняет конная телега. Возчик гнал посередине шоссе, несколько не опасаясь встречи с автомобилем, и в этом тоже было что-то тревожно-неестественное.

— Подвезите, дяденька, — все же осмелился Сергей, когда подвода поравнялась с ним.

— Куда тебе? — неожиданно буднично спросил возчик, притормаживая лошадей.

— До станции.

— Трояк есть?

— Есть.

Сергей обрадованно ухватился за низкий бортик, прыгнул и уселся на жесткое, как закаменевшие кочки дороги, дно подводы. Трясло страшно, но лошади бежали бодро, и Сергей с облегчением почувствовал, что дорога, на которой он уже начал отчаиваться, опять приобрела вполне проходимый и даже добродушный вид...

Ночь Сергей продрожал в дырявом сарае на окраине станционного поселка — он забрел сюда, прячась от патрулей. Это было очень неприятная ночь. И не только потому, что Сергея мучил холод и страх (холод постепенно полностью вытеснил страх). Это была лишняя, ненужная в жизни Сергея ночь. Он должен был ехать в поезде и уже под утро выйти на городском вокзале. А он никуда не ехал, он бессмысленно дрожал в нелепом дырявом сарае.

Утром Сергей еще раз пробрался на вокзал и убедился, что по железной дороге домой ему ни за что не доехать. Тогда он вышел на шоссе. Метров двести оно вело его благополучно. Заканчивались последние домишки станционного поселка, начиналась открытая степь. И дальше шоссе бежало параллельно железной дороге, рядом с телеграфными столбами. Но, чтобы попасть в эту открытую степь, надо было пройти небольшой мостик, который только что переехали две мажары, запряженные волами, и на котором остановилась полуторка. Шофер полуторки протягивал дежурному милиционеру документы. Сергей прибавил шагу. Он хотел проскочить, пока милиционер занят. Но полуторка ушла прежде, чем он ступил на мост.

— Куда? — остановил Сергея милиционер.

Сергей посмотрел по дороге вперед, туда, где на выбоинах шоссе все дальше и дальше подпрыгивала корма полуторки, туда, где в сотне метров от мостика остановились мажары. Двое парней и две девушки что-то там поправляли.

— В Новинск, домой, — назвал Сергей ближайшее от станции крупное село. Сергей начинал безнадежную игру: он не умел убедительно врать.

— А где ты там живешь?

— На улице Ленина.

(Должна же быть в большом селе улица Ленина!)

— В Новинске не улицы, а линии, — назидательно сказал милиционер. — Врешь, а не знаешь, как соврать.

У милиционера было молодое и вовсе не злое лицо.

— А на станции что делал? Проведывал больную тетю?

— Да.

— И живет она тоже на улице Ленина?

Сергей кивнул.

— Вот видишь, — сказал милиционер, — все правильно! Пойди пока здесь. Скоро мне сменяться, мы и пойдем.

Но Сергей не стал ждать. Увидев колонну грузовиков, подходивших к мосту, он бросился бежать.

— Стой! — крикнул милиционер, но не погнался, пошел к грузовикам.

Вначале Сергей хотел обойти мажары стороной — не задержали бы парни. Но потом независимо двинулся прямо по дороге. Он видел, что от мажар за ним следили, и потому держался вызывающе.

— Удрал? — весело окликнул его парень лет двадцати со светлыми понимающими глазами.

Сергей не ответил.

— Есть хочешь?

Сергей взглянул в светлые понимающие глаза и сказал:

— Удрал.

— А чего же не просишься? Ты ж в Новинск? Цоб-цобе знаешь?

— Нет.

— Ну, это пара пустяков.

И, словно Сергея давно тут ждали, парни и девушки засуетились: «Волов не бойся! Ты куда едешь? В город? У тебя там родители? Бедненький».

Сергей быстро запомнил, кто из волов цоб, кто цобе. Ему дали кусок хлеба с салом, вручили хворостину — погоняй! А светлоглазый и его товарищ забрались вместе с девушками во вторую мажару. Ребята ехали в Новинский райвоенкомат, а девушки их провожали.

— Цоб! Цобе! — сказал Сергей, и огромные колеса, между которыми и ниже которых он сидел, с большой неохотой покачнулись.

Мажара перекосилась на кочках слева направо, потом справа налево, а колеса, кажется, не сделали еще и одного полного оборота. Их широченные ободья вытягивались и вытягивались из-под телеги — никак не могли вытянуться. За толстые деревянные спицы, которые вот-вот остановятся, хотелось ухватиться рукой. Странное это было движение. Посмотришь на волов — идут. Посмотришь на огромные колеса — кажется, вот-вот остановятся. Раздражающее противоречие. Сергей несколько раз взмахнул хворостиной и оглянулся на ребят. Светлоглазый поощрительно кивнул ему: «Давай, все правильно!»

Сергей взмахнул хворостиной и почувствовал беспокойство. Он оглянулся еще раз. На второй мажаре волов никто не погонял. И вообще в мажаре никого не было видно. Поднялась чья-то рука, спряталась — и все. Сергей понял — парни и девушки улеглись. Ему стало жарко.

— Цоб! — яростно замахнулся Сергей на своих волов. — Цобе!

Волы неторопливо раскачивались, скрипели деревянным ярмом и что-то вяло жевали на ходу. У них были острые хребтины, тяжело раздувавшиеся бока, и казалось, главные усилия они затрачивали на то, чтобы нести собственные туши, а не двигать мажару.

— Эй, паренек, не гони их особенно, все равно быстрее не пойдут.

— Не торопи их, мальчик, — вмешался девичий смешливый голос, — нам спешить некуда.

На мажаре рассмеялись («Неестественный смех», — подумал Сергей), потом смех оборвался, и Сергей напрягся, слушая валкий, шаркающий шаг волов и скрип мажары. Волы лениво поматывали тяжелыми башками, поджарый и более подвижный цоб теснил к обочине мелковатого цобе. Огромные колеса то с неестественными затратами труда одолевали ничтожную кочку, то скатывались с нее так неожиданно быстро, что мажара почти догоняла волов, и Сергей опасно отклонялся назад, чтобы измазанный зеленым, тяжелый хвост не хлестнул его по лицу.

«Какой я вам «мальчик»? — злился Сергей. — Нашли «мальчика!» Непонятная обида мучила его.

— Цобе! — яростно шептал Сергей. — Лентяй проклятый. Спешить тебе некуда?

Цобе, подхлестнутый Сергеем, немного надавал, делал несколько быстрых, увалистых шагов, но тут же его энергия и страх погасали, и он опять вяло раскачивался в упряжке, и поджарый цоб снова теснил своего напарника. А огромные колеса мажары опять останавливались, останавливались и никак не могли

остановиться — тянулись по степной дороге с величайшим безразличием к тому, что осталось сзади, что ждет впереди, к тому нетерпению и обиде, которые бушевали в Сергее.

Конечно, лучше было бы бросить эту проклятую мажару и подождать попутной машины. Но, во-первых, на Сергея надеялись, и он не мог подводить людей, а во-вторых, грузовики ходили не так уж часто. И Сергей снова и снова обрушивался на ленивого цобе и часто оборачивался назад. Авось на второй мажаре ребята уже сидят, как нормальные люди. Тогда Сергея перестанет мучить обида и воздух в степи не будет таким пыльным и жарким.

Еще больше, чем на парней, Сергей был зол на девушек. Особенно на ту, которая крикнула, чтобы он не погонял волов. Это она дала ему кусок хлеба с салом, и Сергей успел к ней присмотреться. Она чем-то напомнила ему девочку, в которую он был влюблен в пятом классе, Аду Воронину (Сергею многие незнакомые напоминали каких-нибудь его знакомых или даже родственников) — такая же светловолосая и круглолицая. Только глаза у нее были не такими, как у Ады, не задумчивыми, готовыми каждую минуту удивиться и испугаться, а смелыми и беспокойными. И вообще от этой девушки исходило какое-то беспокойство, какая-то слишком сильная энергия. Девушка не насмешничала, но, когда она смотрела на него, Сергей почему-то пугался: уж не смешно ли он выглядит? Она спросила, куда он едет, и посочувствовала и пожалела — далеко. Спросила, есть ли родители, где мать. Она спрашивала потому, что ей это было интересно, он решил, что между ними установился какой-то союз. Но какой союз может быть между старшей и младшим! Теперь Сергей ясно видел, что девушке никакого дела не было до его матери, и он досадовал на себя за то, что так подробно отвечал. Надо было промолчать или сказать что-нибудь грубо и презрительно. Так бы он говорил с ней сейчас, если бы она к нему подошла.

— Цобе! — обрушивался Сергей на низкорослого ленивого вола.

Сергея мучил страх за мать, боязнь, что она, близорукая, неуверенно чувствующая себя на улице, не сумеет во время бомбежки найти убежище. Этот страх мучил его с тех пор, как Мешков получил письмо, и мучит его сейчас, когда там, на второй мажаре, парни и девушки, неведомо почему решившие, что он будет оберегать их покой, целуются, а волы, плюя на войну, тянут не тянут мажары.

— Цобе! Цобе, проклятый!.. Чтоб тоби, ледачья скотина!

(Может, животное просто не привыкло к городскому выговору?)

Сергей вкладывает в свои удары все раздражение. И вдруг озленные животные срываются. Поджарый цоб изо всех сил давит на мелкорослого цобе, и мажара постепенно скатывается с дороги в открытую степь. Огромные колеса вращаются с неожиданной быстротой.

— Цобе! — надрывается Сергей. — Цобе!

Но цоб куда мощнее и раздражен он сильнее, хотя ему меньше досталось. Он просто задавливает своего малосильного напарника, и, хотя они бегут рядом, кажется, что цобе в панике убегает, а цоб его яростно преследует. Один убегает, второй преследует, и оба не видят, что еще сотня метров — и мажара обрушится в крутой овраг. Они даже наддают, прибавляют шаг по уклону, словно хотят быстрее свалиться в овраг, закончить эту бешеную гонку.

— Цобе! — пугается Сергей. Спрыгнуть ему некуда, по бокам вращаются огромные колеса, а как остановить животных, он не знает. — Тпру! — кричит он, как лошадям, и уже готовится вместе со взбесившимися животными лететь в овраг, как вдруг замечает человека, который бежит, стараясь отрезать волов от обрыва.

Это тот самый светлоглазый парень. Только бы он успел, только бы волы его послушались! Парень бесстрашно набегаёт грудью на тяжелые, слепые морды, и воловья ярость послушно гаснет. Волы воротят морды от парня, сворачивают направо, делают несколько тяжелых скачков в гору и останавливаются как вкопанные. Сергей неловко слезает с мажары, ноги его подрагивают. Он оглядывается на волов, которые едва не расшибли самих себя, едва не убили его, — они уже лениво и отрешенно жуют свою жвачку.

— Озлил ты их, — говорит светлоглазый и смеется. К ним подбегают запыхавшийся второй парень и девушки.

— Жив, хлопец? — волнуется «Ада Воронина». — Господи, я думала, что случится... — И она замахивается на равнодушно жующих волов: — Ну, вы, черти безрогие!..

— Я не знаю, как это получилось. Вожжей нет, а они побежали и побежали. Как их остановить? — растерянно пытается оправдаться Сергей.

Но его и не собираются ругать. Никто и не смеется над ним. Удивительно, как сразу его понимают сейчас парни и девушки. «Ничего, ничего!» — мгновенно приходят они к нему на помощь. И добры они сейчас, просто светятся добротой.

— Я не поеду дальше, — говорит Сергей. Его не уговаривают.

— А что, пешком ты вот этой тропинкой быстрее дойдешь, — показывает под горку светлоглазый. — Прямоком выйдешь на главную улицу. Девки тебе хлеба дадут, и иди. Вон Новинск.

— Да не надо, — отмахивался Сергей от куска хлеба, который ему протягивает «Ада Воронина».

Но девушка догоняет его, сует в руки хлеб.

— Ишь какой стеснительный! А сам голодный. До города еще сколько... Как-то дойдешь?

Она проводит жесткой и крепкой ладонью по его волосам. Но Сергей норовисто вздергивает голову и, не оборачиваясь, шагает к Новинску.

Уже перед самым Новинском Сергей вспомнил: парни-то ехали в армию! Надо было им пожелать всего хорошего, а он даже не попрощался.

9

В Новинске Сергея задержали. Он постучал в калитку рядом с массивными воротами и попросил у пожилой женщины, вышедшей к нему, воды. Пока женщина ходила за водой, Сергей рассматривал двор. Двор был большим, мощным, с двумя длинными сараями, похожими на гаражи. У крылечка дома, в который вошла женщина, висел медный колокол, а рядом с ним короткий обрезок рельса. Сергей гадал, что это за колокол и для чего предназначается рельс, когда его окликнули. Сергей вздрогнул, потому что окликнувший подошел незаметно и теперь стоял вплотную.

— Кто таков? — спросил он.

— Да я воды прошу, — испугался Сергей.

— Я спрашиваю: кто таков?

Спрашивавшему было лет тридцать. Одет он был в новенькую военную форму, но без петлиц и знаков различия. Лицо его показалось Сергею несерьезным, даже мальчишеским. Во всяком случае, мужчина такого возраста не должен был бы смотреть на мальчика так угрожающе, с таким откровенным желанием запугать.

— Ну, если вы не даете воды, — сказал Сергей, — я уйду.

— Нет, голубчик, — цепкая рука легла на плечо Сергея, — никуда ты отсюда не уйдешь! Говори: кто таков?

— Ну, Сергей Рязанов, — голос Сергея дрожал.

— А настоящее имя? Ганс? Фриц?

— Ты дурак, — рванулся Сергей и увидел перед своим носом толстый, крепко скрученный кулак. — Дурак вонючий!

Сергей не смог вырваться и, набрав полный рот слюны, плюнул. Но цепкая рука успела закрыть ему рот, и вся слюна размазалась по Сергееву лицу. Сильная пятерня сдавила щеки Сергея, приплюснула нос. Сергей задохнулся и, не помня себя, кинулся в драку. Но он только барахтался в сильных руках. Отчаянное, унижительное, еще не испытанное чувство оскорбительного бессилия охватило Сергея. Он бился головой о подставленный локоть, кусал гимнастерку, бил ногами в пустоту. Потом мужчина выкрутил Сергею руки и пригнул его к земле.

— Все равно, — хрипел Сергей, — все равно!

— Что вы делаете, Николай Николаевич? — крикнули с крыльца. — Отпустите мальчонку!

— Шпионенка поймал, — ответил Николай Николаевич, — Я вам говорил, что это шпионенок!

— Да бросьте вы его! Вечно вы, ей-богу!

Этот мужчина вызывал у Сергея совершенно ослепляющую ненависть. В таких людях, как этот мужчина, для Сергея всегда заключалось нечто невыносимо непонятное. Они так легко ошибались нарочно! Они сколько угодно могли ошибаться. Им вообще было неважно, ошибка это или не ошибка! Их, как Гришку Кудюкова, вообще не интересовали всякие доводы «за» и «против». У них была какая-то своя программа, свои доводы, и эти «свои» доводы были Сергею ненавистны.

— Подержите его, Тимофеевна, — начальственным голосом приказал Николай Николаевич. — Я позвоню куда надо.

— Успокойся, парнишка, — сказала Тимофеевна и загородила Сергею дорогу, когда мужчина его отпустил и пошел в дом. — Он у нас один на всю пожарную команду остался. Остальные все на фронте. Вот он и бесится. Оправдаться хочет. Иди своей дорогой. Не бойся.

— А я и не боюсь, — угрюмо ответил Сергей и демонстративно неторопливо двинулся по улице.

По главной улице Новинска — она же и шоссейная дорога, ведущая в город, — Сергей вышел на окраину поселка и там за последними хатами увидел группу людей с узлами и чемоданами, расположившихся у обочины дороги на траве. Люди «голосовали» — просились на попутные машины. Многие из «голосовавших» тоже добирались в город.

Весь день и всю ночь просидел Сергей вместе с ними у околицы Новинска, и только наутро шофер вольного, не военного грузовика согласился их взять с собой. Люди обрадованно швыряли свои вещи в кузов, торопливо переваливались через борт, торопливо рассаживались. «Ничего, ничего! Как-нибудь! Главное — едем». Не веря своему счастью, лез в грузовик и Сергей. Теперь сто восемьдесят — двести километров превращались как бы в один километр. Теперь не нужно было думать о каждом из двухсот километров — как бы пройти его?

Машина мчалась по степной дороге, кренясь то к правой, то к левой обочине, в кузове говорили о бомбежках, о фронте, который уже накатывается на город, а Сергей все переживал свою удачу. Он думал и о бомбежках тоже, но теперь, когда он сам ехал в город, они не казались ему такими страшными, как несколько дней тому назад...

В четвертом часу дня грузовик пристроился к очереди машин и подвод, скопившихся у подходов к городскому мосту.

— Вылазьте, — предложил шофер. — Через мост пойдете пешком. В машине патруль обязательно задержит. А у местных жителей документы не проверяют.

Сергей жадно смотрел на красные кирпичные стены домов, уступами поднимавшиеся на том берегу реки. Цвет кирпича был не просто красный. Он был темный, глухой от времени, обжитой и уютный. На той стороне, где стоят эти черно-красные стены, Сергей сразу же почувствует себя дома, сразу станет своим. Там у него никто не спросит, кто он такой и откуда. Вот только перейти реку...

Сергей хотел расплатиться с шофером, но тот отказался от денег.

— Зачем мне эта корысть? — сказал он. — Тут, в этой очереди, сто раз убьют. Зачем мне смерть на себя накликают?

У моста Сергей нерешительно замешкался.

— Эй, пацан, — крикнул патрульный, — чего топчешься! Проходи быстрее! Быстрее, быстрее!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Как по-домашнему пахнет городской асфальт, когда ступаешь на него после долгой разлуки! Как прочен под ногами после степной пыли и грязи неудобный булыжник! Как четка и знакома планировка улиц! И главное — все на месте: и дом с колоннами, и тень от него, и даже сыростный запах подворотен на теневой стороне улицы. Кажется, именно его тебе так долго и не хватало.

Сергей был счастлив. Если бы ему сейчас поручили быть экскурсоводом! Правда, он не очень-то знал историю города и не мог бы дать справку, кому принадлежали до

революции массивы огромных зданий вокруг центрального рынка, к которому он сейчас поднимался от моста, и на чьи сбережения был построен рыночный собор — гигантское предприятие, пропахшее не только ладаном, но и копченой селедкой, гниющими овощами, мучной пылью. Знания Сергея о городе были более земного или, вернее, «асфальтового» характера. Они достигались подробным изучением тротуаров и мостовых — не валяются ли там интересные фантики? — близостью к шершавости стен. Это вовсе не преувеличение — Сергей изучал здания своего города руками, пальцами. Шел куда-нибудь, задумавшись, и вел пальцем по стене. Он помнил каменные глыбы «под гранит», из которых сложено здание государственного банка, гладкий, отлакированный кирпич шестиэтажного Дома Советов. В зависимости от того, как часто перескакивал его палец с камня на камень, с кирпича на кирпич, работала и его фантазия. Он даже заранее настраивался мечтать под стены государственного банка или под стены строительного института.

Stepь совсем не понравилась Сергею. Ему вообще еще совсем не нравилась природа. Он и раньше не любил выезжать из города. Томился в пионерских лагерях или где-нибудь в доме отдыха с родителями. Не увлекали его особенно ни Кавказские горы — однажды он был в Пятигорске с отцом, — ни Черное море. Ему больше чем достаточно было своего города, своей реки. Ведь он еще так мало и так плохо знал свой огромный город, свою великую реку. Всего лишь десяток центральных кварталов, всего лишь кусок набережной и пляжа. Огромный мир, увлекательный и яркий мир, полный тайн и загадок, еще продолжал открываться ему в его собственном городе.

Сергей поднимался от моста и с превосходством одержавшего крупную победу человека поглядывал на нервничавших шоферов и возчиков, рвавшихся из города. Сергей их чуточку презирал. Его не заражала их паническая суетливость, их мгновенно загоравшиеся и мгновенно обрывавшиеся споры. Они удирали из города, а он шел в город и собирался надолго здесь остаться. Ему не к чему было суетиться. Кроме того, он прошел уже метров сто по улице, а еще не заметил ничего такого, что оправдывало слухи о тяжелых бомбежках и пожарах. Мост был цел. Вода в реке не хранила следов падавших сюда бомб. Мостовая, поднимающаяся к рынку, как всегда, остро пахла рыбой и овощной гнилью — сюда после каждого дождя стекала вода с рыночной площади.

И вдруг Сергей наткнулся на яму. Яма была глубокой, словно ее долго и упорно рыли. Неизвестно только, куда девали землю, — края ямы были аккуратно и гладко врезаны в булыжник мостовой. Сергей первый раз в жизни видел такую яму и потому не сразу понял — воронка. Должно быть, бомба была не очень крупной — здания по обе стороны улицы остались целы, лишь вылетели стекла из всех окон да густо иссечены стены от тротуара до второго, а местами и до третьего этажа. Фантазия Сергея испуганно заработала: он представил себя здесь в тот самый момент, когда бомба рванула воздух. Мог бы он как-нибудь спастись? Если бы лег вон там, на тротуаре? Тогда бы его пробили четыре осколка, до костной белизны выщербившие стену. Сергей осматривал рваные следы на штукатурке, мысленно укладывал между ними свое тело и никак не мог уложить. Нигде между этими следами не оказывалось столько места.

Сергей прибавил шаг и опять наткнулся на яму, потом еще на одну. Бомбы, которые взрывались здесь, не уничтожали зданий, для этого им, наверно, не хватало силы. Они рассыпались на множество осколков, и в том, как тщательно прошивали осколки все пространство вокруг воронки, как густо они ложились на стены как раз на уровне человеческого роста, была не оставлявшая места надежде угроза.

Сергей зашпешил. Теперь он по-новому услышал торопливые сигналы автомобилей, лязг тележных колес по мостовой, и его тоже охватили настороженность и нетерпение.

Он свернул от потока машин и людей в сторону, на боковую улицу. Эта была старая, булыжная улица с многоэтажными акациями, которым давно уже малы оставленные когда-то в тротуарах оконца. И раньше на этой улице было немного прохожих, а теперь ни одного. Улицу словно выключили. И вообще в городе было что-то выключено. В самом воздухе чего-то не хватало, кислорода, что ли? Во всяком случае, дышалось тут напряженно. Сергей заметил, что он словно не шёл, а перебежал от подворотни к подворотне. Дойдет до одной и прицеливается, где другая, ближайшая...

И опять наткнулся на ямы. Но даже если не было ям, под ногами хрустела стеклянная крошка. Иногда полквартиры Сергей ступал по черно-синим осколкам патефонных пластинок. Как будто после дикого кутежа пластинки швыряли с верхних этажей или как будто здесь по соседству — фабрика звукозаписи, с заднего двора которой сюда вывозят бракованную продукцию. Сергей поднял один черно-синий осколок и догадался — обыкновенное оконное стекло, побывавшее в сильном огне.

Иногда Сергею попадались кварталы, почти не затронутые бомбежкой. Но и они были пустынные, и там в воздухе млеало напряжение.

Сергей шел в школу. Он свернул на трамвайную линию. Кое-где над улицей тонкая сеть из трамвайных проводов не была потревожена. Местами она спускалась к мостовой. Удивительно, трамвайный провод всегда казался Сергею тонким, а вот тут, на земле, было видно, что проволока очень толста.

Вот и школа. Сергей толкнул калитку и обомлел. Весь двор, вплоть до сараев, которые утром освещаются солнцем, был завален кирпичным мусором и щебнем. Вот куда попадали бомбы, воронок от которых Сергей не видел на проезжих частях улиц! Они попадали в тело города, в его дома!

Бомба разрушила школьную лестничную клетку. Каменные входные приступки были скрыты под обломками стены. Но сама лестница — чугунная широкая лестница — осталась цела. Даже перила с набитыми на них деревянными квадратиками сохранились неприкосновенными. Неестественно расширились входы с лестничных площадок в залы, но боковые стены лестничной клетки тоже остались целы. Даже не обвалилась светло-зеленая штукатурка, даже масляный трафарет не попортился.

— Эй! — крикнул Сергей. — Кто-нибудь!

Он осторожно подошел к пролому и со страхом посмотрел вверх.

— Эй! — подбадривая себя, крикнул Сергей еще раз и полез по кирпичной крошке.

Бывшая школьная стена осыпалась под его ногами. В кирпичном мусоре попадались изуродованные железные листы. Сергей заглянул в зал первого этажа (в Сергеевой школе были не коридоры для прогулок, а залы). Странно, там, если не считать кирпичной пыли у входа, все было так, как во время уроков: пусто, сумрачно, тихо.

— Эй! — еще раз крикнул Сергей, чувствуя, что его охватывает ужас. Ведь если в школе сейчас никого нет, значит, опасность действительно необычно велика. И Сергей ощутил себя мишенью для этой опасности, магнитом, который ее притягивает.

Все же он заставил себя подняться на второй этаж. В учительскую он бежал, стараясь не нажимать на паркетные плитки, чтобы пол не рухнул под его тяжестью. Дверь в учительскую оказалась незапертой. Эту комнату Сергей знал не очень хорошо — заглядывал сюда несколько раз за шесть лет. Откроет дверь, отыщет в тесной группе учителей (видеть их всех вместе страшновато) Аннушку, спросит: «Анна Михайловна, я сегодня дежурный. Наглядные пособия надо готовить?» — и сразу закроет дверь. Иногда, правда, он входил в комнату, брал из шкафа литографии или классный журнал. Но все это быстро, не глядя по сторонам. Сейчас Сергей не узнал учительскую. Ему казалось, что длинный, покрытый зеленым сукном стол, за которым учителя проверяли тетради, стоит ближе к двери, а он оказался почти у самых окон. И шкаф вроде бы прижался к стене не на своем обычном месте. Сергей подошел к шкафу — все-таки очень любопытно вот так одному остаться в учительской, — открыл дверцы. На полках толстыми стопками лежали классные журналы, какие-то тетради. Был здесь и деревянный циркуль, в одну ногу которого вставлялся мел. Сергей зачем-то взял его и тут же бросил.

В двух шагах от учительской — дверь директорского кабинета. Сергей толкнул ее — дверь заперта.

И опять он бежал, подавленный ощущением зыбкости, непрочности пола.

Во дворе та же душная тишина. Или даже еще душнее. Словно за это время из города откачали еще немного воздуха.

Все-таки надо было кого-то найти! Сергей побежал к соседнему жилому дому. У входа в подвал, на который еще издали указывала стрела с надписью «Бомбоубежище», его окликнули.

— Я ищущу Ивановну, — сказал Сергей. — Нянечку из школы.

— Зовут-то ее как? — спросил пожилой человек в темном осеннем пальто («в подвале холодно», — догадался Сергей). — Как ее фамилия?

— Не знаю. Ивановна. Нянечка из школы. Ее все зовут Ивановна.

— Так ты долго будешь искать, — сказал человек в пальто и обратился к женщине в старом цветастом халате, надетом поверх пальто: — Вот тут малец какую-то Ивановну, нянечку из школы, спрашивает. Есть у нас такая?

— Есть, — сказала женщина, — сейчас позову. — И спросила у мужчины в пальто: — Тихо там? Как вы думаете, воду я успею вскипятить?

Женщина только что поднялась из подвала и недоверчиво присматривалась к небу.

— Тихо пока, — сказал мужчина и неопределенно развел руками.

— Я немного, — сказала женщина, будто договариваясь с мужчиной, — буквально пару кружек. Нельзя же без горячего столько дней.

Она застучала каблуками по лестнице в подвал и уже через минуту вернулась с керосинкой и кастрюлей в руках.

— Сейчас придет, — сказала женщина.

Следом за женщиной в цветастом халате вышла девочка лет тринадцати. Женщина прикрикнула на нее: «Немедленно в подвал!» Девочка сморщила кислую мину «слушаю не слушаю» и осталась. Потом вышли еще две женщины. Рядом с первой керосинкой прямо на асфальте стали еще две. Наконец появилась Ивановна. Сергея она узнала.

— Ты из седьмого «А», — сказала она, — Анны Михайловны ученик?

Сергей обрадовался. Так приятно было услышать сейчас, что он из седьмого «А» и что он Анны Михайловны ученик. И мужчине в пальто и женщинам тоже почему-то было это приятно услышать. Словно Сергей оказался лучше, чем они до сих пор о нем думали.

— Так вы же в колхозе, — сказала Ивановна.

— В том-то и дело, — заторопился Сергей, — мы в колхозе и ничего не знаем. Вот я и пришел, а где найти директора, не знаю.

— Нету директора, — сказала Ивановна. — Они с завучем еще четыре дня назад уехали в колхоз. Ты вот, наверно, ушел, а они приехали.

— Только они уехали, — сказал мужчина в пальто, — а школу-то и накрыло. Как чувствовали.

— А в школе в это время кто-нибудь был?

— Слава богу, никого.

— А скажите, — Сергей суеверно оттягивал этот страшный вопрос, — дом на углу Маркса и Синявинского цел? Ну, знаете, такой серый, четырехэтажный, с балкончиками. Дикого винограда там много и палисадники.

— Не знаю, — сказала Ивановна. — В тот район не особенно вроде кидали? — неуверенно обратилась она к пожилому мужчине в пальто.

И тот успокаивающе подтвердил:

— Как будто бы.

— А я ночью видела, в той стороне горело, — сказала девочка.

На нее цыкнули. Девчонка независимо пожала плечами и вдруг насторожилась.

— Летят, — сказала она.

— Ну, чего балуешься! — замахнулась на нее Ивановна, но тоже насторожилась.

И все насторожились и затихли. Сергей ошеломленно смотрел на девчонку — что-то острое и холодное проникало к нему под кожу спины.

— Может, то наши? — спросил он.

— Наши! — возмутилась девчонка. — Не слышишь, как гудят?

— А чего ж тревоги не объявляют?

— Ее уже третий день не объявляют, малец, — сказал мужчина в пальто. — Не к чему объявлять. Бомбит с утра до вечера. Вот на обед себе только перерыв устраивает. Да еще с четырех до шести утра тихо. Спят, наверно.

Женщины наклонились к своим керосинкам, но не тушили их. В их позах было что-то от настороженности бегунов на старте — раздастся сигнал, и они побегут. Вдалеке, накатываясь приближающимся громом, захлопали зенитки. И вдруг где-то рядом, будто в соседнем дворе, лопнула большая зенитка. Она именно лопнула, такой это был звонкий, пространственный, надолго задерживающийся в ушах звук. Ничего

устрашающего в этом звуке не было. Наоборот, он казался радостным, подхлестывающим, но теперь хозяйки потушили свои керосинки, подхватили их вместе с кастрюлями и поспешили в подвал.

— Спускайся, мальчик, в бомбоубежище, — сказал Сергею мужчина в пальто. — Это уже до ночи.

— Нет, — сказал Сергей, — я побегу.

— Убьет! — крикнул мужчина. Но Сергей уже бежал.

Никогда он не вкладывал так много сил в то, чтобы бежать. Он несколько тысяч раз прошел за свою жизнь этой дорогой, а теперь у него было состояние человека, безнадежно запутавшегося в незнакомом месте, отчаявшегося найти выход. Все стояло на месте: и приземистое, длинное, на целый квартал здание швейной фабрики, и типография, и юридическая консультация... И все казалось не тем.

Нет, бомбы сюда еще не падали — просто Сергей не доверял сейчас этим зданиям. Он боялся их. Боялся их стен, окон, боялся открытого асфальта, ширины улицы. Зенитки били справа и слева. Похоже, они стреляли с крыш соседних домов, из соседних дворов, — таким сильным и очищенным был звук выстрелов. И вообще в городе только и звучали в абсолютной пустоте эти металлические хлопки. Да еще над городом разрасталась грохочущая крыша разрывов, сквозь которую уверенно и угрожающе пробивалось прерывистое гудение авиационных моторов. Это гудение все больше и больше заполняло улицы, и все пространство между домами и над домами превращалось в рев. Потом от этого рева отделился стремительный звук. Он помчался прямо к Сергею, набирая бешеную скорость, покрывая хлопки зениток. Вот он стал гигантски велик и в то же время не потерял своей сверлящей остроты и точной направленности. И Сергей, задохнувшись, понял — ему не убежать. Звук догонял его. Сергей упал на асфальт, вдавился, распластался на его теплой шероховатой поверхности. Он знал, что это бессмысленно. Он ведь примеривался недавно, выбирая место, где можно было бы улечься между осколками. И теперь все в нем напряглось в ожидании неминуемого разрыва.

И вой бомбы наконец оборвался взрывом. Окна в доме, рядом с которым упал на тротуар Сергей, звякнули, но не вылетели — бомба разорвалась далеко. Едва Сергей с облегчением это понял, в воздухе опять родился сверлящий звук. А за ним его более тонкое повторение: бомба догоняла бомбу. Зенитки продолжали бить, зенитные снаряды суетливо рвались в небе, осколки этих взрывов с тоненьким бульканьем возвращались на землю. Но все это уже не занимало Сергея. В нем осталось только одно ожидание. Это ожидание разрасталось так же быстро и тяжело, как росла напряженность бомбового воя. На Сергее ничего не осталось — ни одежды, ни кожи. Он утратил ощущение собственной тяжести. Как моряк, упавший во время шторма на палубу, боящийся, что его вот-вот смоем, Сергей инстинктивно искал, за что бы ухватиться рукой или зацепиться ногами. Но асфальт был гладок и гол.

И Сергея оторвало от асфальта. Но вначале он оглох и освободился от своего ожидания. Он ослеп от вспышки, от грохота, его сильно ударило, и на мгновение он потерял сознание. Потом бомбы продолжали свистеть и рваться, а он уже ничего не ожидал. То, что он увидел, вспухающие стены углового здания, дым, брызнувший сквозь окна, удар стены, с тягостной неторопливостью плашмя улегшейся на дорогу, — все это что-то переполнило в нем или от чего-то освободило. Он вскочил и побежал.

В ту войну у каждого была своя потрясающая минута, в которую ненависть сплавляла для него воедино дотопле разные слова «немец», «фашист», «убийца». Сергей бежал по городу и в реве авиационных моторов, в железном свисте падающих бомб ясно слышал немецкую речь.

2

Гладкую светло-серую стену своего дома Сергей увидел издали. Дом был цел. Он и должен был быть цел. Разве можно разрушить эту четырехэтажную махину Сергеева детства, где Сергея столько раз защищали, согревали, лечили, где так любят и ждут! Только бы добраться до этих балконов с зелеными цветочными ящиками, до этих широченных окон типа «новый быт», до светло-серой стены, за которой налаженная, укатанная, знакомая каждой ступенькой в собственном и чужих парадных жизнь. Она противостоит этой бомбежке и умной, всеразрешающей рассудительностью Гарикиного

отца, и многолетней аптечной чистотой в квартире Хомика, и несокрушимой основательностью Мекса, и еще бог знает чем навеки привычным и любимым... Все это не то чтобы «проносилось» в голове Сергея — у него на это не было ни времени, ни сил, — все это жило в нем, заставляло бежать быстрее, лихорадочно гнало кровь через сердце.

Первое парадное, до которого добежал Сергей, оказалось запертым. Сергей на всякий случай рванул на себя дверь — в этом подъезде подобрались очень осмотрительные жильцы — и бросился дальше. Дверь в Сявоново парадное Сергей рвал с остервенением. Раньше она всегда болталась открытой. Потом были еще две наглухо запертые или забитые парадные двери и наконец железные, почти упирившиеся пикообразными стержнями в полукруглый свод подъезда ворота (когда-то очень давно Сергей боком мог просунуться между стержнями). Калитка на замке. Висячий замок захватил два конца толстой цепи. Сергей рванул калитку, рванул еще раз, но она даже не зазвенела, не стукнула как следует — такой она была тяжелой. Тогда Сергей закричал. Сквозь прутья ворот он видел домик Мекса — одноэтажный флигель, выстроенный специально для дворника, — две молодые акации, старую щербину на асфальте, в которой всегда подолгу задерживается дождевая вода.

Никто, конечно, не мог сейчас услышать Сергея. У него не было ни одного шанса. Но он продолжал кричать и стучать ногой в ворота.

И все же его услышали. Сергей не видел, когда в подворотне появился Максим Федорович, — колотил ногой по калитке, повернувшись спиной к воротам, — он услышал, когда звякнул замок. Дворник тоже боялся и не сразу попал ключом в отверстие в замке. Толстый, пухлый Мекс долго возился, дергал цепь и, пока не справился с замком, ни разу не взглянул на Сергея. Но едва калитка открылась, Мекс сразу же сказал те самые слова, которые надо было сказать:

— Здесь мать. Жива-здорова. Иди в подвал, там тебе покажут.

— А Хомик здесь?

— Михаил Чекин? Давно приехал. С ребятами где-то.

Мекс опять заспешил, оплетая калитку цепью, а Сергей бросился опретью из подворотни. Но вдруг остановился, ему стало стыдно бежать одному. Он подумал, что не ему первому, не ему последнему отпирает Мекс калитку, что, наверно, кроме Мекса, никто этим не занимается, не прислушивается, стучат или не стучат, просят открыть или не просят. Сергей подождал, пока Мекс, колыхаясь, поравнялся с ним, и только тогда позволил себе его обогнать.

По узким, неудобным (никто не рассчитывал, что по ним будут много ходить) ступенькам Сергей скатился в подвал и, как утопающий, вырвавшийся на поверхность, вдохнул серый, пахнущий земляной пылью воздух. Еще минута — и Сергей задохнулся бы там, наверху. Там, наверху, для него уже не оставалось воздуха. В первую минуту Сергей никого не увидел в темноте, а его увидели сразу. К нему обратилось несколько голосов, кто-то взял его за руку и передал другой руке, и Сергей, доверившись этим рукам и голосам, раздавая им свое напряжение, поплыл куда-то в глубь подвала. Он слеп всё больше и больше и переставал чувствовать самого себя, темнота перед ним сгущалась и сгущалась, пока не вспыхнула тусклыми желтыми огнями.

— Осторожнее, — говорили ему.

Кому-то Сергей наступил на ногу, кого-то толкнул, на кого-то, оступившись, упал. Чей-то раздраженный голос его обругал:

— Не видишь, ребенок!

— Простите, — обратился он к плотному, недовольно сопящему сгустку темноты. — Извините.

«Извините, простите», — повторял он, и эти словечки возвращали ему что-то очень важное, ощущение своих рук и ног, что ли. Сергей перестал плыть, он уже ступал, осторожно прощупывая подошвой неровности пола, предчувствуя мгновение, когда слепые желтые огни вспыхнут в его глазах в последний раз и он прозреет. Мать увидела Сергея раньше, чем темнота в его глазах рассеялась. Он услышал ее сорвавшийся голос, ее близорукую неверную поступь и, опасаясь, что она сейчас заплачет и что он этого не выдержит, стесняясь подвальной тишины, заговорил предупредительно сдержанно:

— Это я, ма. Все в порядке, ма. Я пришел, ма.

У матери уже был опыт подвальной жизни. После первых беспорядочных минут свидания, которых Сергею так и не удалось избежать, она затащила его под бетонный свод.

— Что это? — показал вверх Сергей.

— Лестничная клетка, — сказала мама. — Здесь безопаснее: над головой четыре бетонных перекрытия, только очень большая бомба их пробьет.

— А если рядом упадет или в десяти метрах?

— Все равно, — сказала мама. — Так спокойнее.

— Давно вы здесь?

— Третьи сутки, и днем и ночью. До этого я еще на работу ходила (мать работала в госпитальной прачечной). — Она смущенно наклонилась к Сергею: — Ты не смейся, Сережик, тут такое делалось, что и я верю, не верю, а тоже вместе с женщинами переписала одну молитву. «От нечаянной смерти» называется. На всякий случай, для тебя. Ее раньше солдаты с собой на фронт брали. Возьми бумажечку — мне спокойнее будет. Это заговор от штыка, от пули, от ядра.

— Ма, пусть лучше у тебя.

— Ну как хочешь, — сразу и даже с облегчением согласилась мама. — Понимаешь, все переписывали, вот и я переписала.

Но Сергей и не думал смеяться. В этом пронизанном страхом и ожиданием сырым подвальном воздухе и в том, лишенном кислорода, наверху, и в каменной дрожи лестничных сводов, и в том, как люди слушали пальбу зениток и замирали, когда наверху зарождался железный свист, было нечто такое, что превышало его способности понимать. Понимать так, чтобы при этом не оставалось еще чего-то потрясающе необъяснимого.

— Мама, а письмо от отца есть?

— Жив отец. Жив. И письмо есть. Кончится бомбежка — я тебе покажу.

Кто-то длинный и худой отделился от темноты, легко согнулся и аккуратно присел на топчан рядом с Сергеем. Деликатно, с привычной сдержанностью покашлял. Так осторожно ступал, так вежливо кашлял во всем доме только один человек — Хомикин «папаня» Тимофей Васильевич. Он прошел величайшую школу вежливой самоограниченности и предупредительности. Он еще юнцом, задолго до революции, начал работать курьером в городском банке и медленно, незаметно, никому не напоминая о себе, поднимался по служебной лестнице. Он никогда не стушевывался, не унижался, но и кашлял так, что ему ни перед кем не нужно было извиняться. В самом его кашле как бы наперед содержалось это извинение, забота о том, чтобы кого-то не потревожить. И во всей его джентльменски сухопарой, облагороженной сединой чистоплотной фигуре содержалась эта вот готовность не стеснить, не потревожить. Это был не современный человек. Может быть, Сергей и не сказал бы так, но он чувствовал: Тимофей Васильевич *не современный* человек. Не старорежимный, а именно несовременный. Старорежимным был усатый бывший жандармский полковник из первой квартиры. Ребята поздно вечером стучали ему в дверь и на вопрос «кто там!» кричали: «НКВД!» Сергей не знал, нравился ли ему Тимофей Васильевич. Пожалуй, нравился. Тих лишь больно. И очень уж подчинен «мамане».

— По квадратам бомбит, — сказал Тимофей Васильевич, — теперь я в этом полностью убежден.

— Здравствуйте, — сказал Сергей радостно. — А я вас не сразу узнал. А Миша уже выздоровел?

— Да я уж и то жду, когда ты поздороваешься, — сказала мама. — Тимофей Васильевич помог мне в подвал эту кушетку перенести.

— Соседи по квартирам, соседи и по подвалу, — сказала Хомикина «мамания» (Сергей даже вздрогнул: оказывается, «мамания» сидела почти вплотную к нему и, конечно же, слышала все, о чем они с мамой говорили) и тут же отвернулась, словно опасаясь, что Сергей примет ее шутку за предложение начать разговор. «Мамания», всю жизнь не любившая соседей и то, что называется соседскими отношениями, и тут, в подвале, была против соседей. Она сидела, строго выпрямившись, всем своим видом показывая, что и в подвале она ни в ком не нуждается и ни от кого не зависит. Сергей

побаивался «маманю». Ему казалось, что железная старуха неодобрительно относится ко всему их семейству и особенно к матери, никудышной хозяйке, которая не умела ни от кого не зависеть. «Маманя» двести раз одалживала маме соль, спички, кастрюли (молча откроет дверь, молча выслушает просьбу, молча выслушает благодарность и закроет дверь), но не было случая, чтобы сама «маманя» что-нибудь попросила у матери. «А! — отмахивалась мама от упреков Сергея. — Я же все ей возвращаю. И потом — придется же и ей когда-нибудь...» Но «мамане» все не приходилось и не приходилось.

— Выздоровел, — сказал Тимофей Васильевич.

— А как это — по квадратам? — спросил Сергей.

Тимофей Васильевич еще ни разу не начинал с ним разговора сам, а вот сейчас начал, и Сергей даже не посчитал это чем-то особенным.

— Да уж с немецкой пунктуальностью, — сказал Тимофей Васильевич. — Начали они от вокзала вот по такому квадрату: набережная, улица Маркса, Осоавиахимовский. Потом поднялись выше, к Степной. Вчера опять спустились к реке, но только бьют от Осоавиахимовского к нам поближе. Скоро и наша очередь. Удивительно пунктуальные люди эти немцы.

Тимофей Васильевич усмехнулся. Он был доволен тем, что разгадал тактический замысел немецких летчиков. Кроме того, его что-то завораживало в их методичности, в их до очевидности планомерной работе.

— Да уж не то что наши крикуны, — сказала «маманя», и на минуту все почувствовали себя крикунами. «Маманя»-то, уж во всяком случае, никогда крикуном не была. «Маманя» умела делать свое дело. Сергей хотел возразить, но и он почувствовал себя виноватым в том, что «наши крикуны» отступают, а пунктуальные немцы лезут и лезут вперед.

— Но если они бьют по квадратам, — сказал он, — можно догадаться и переходить из квадрата, по которому бьют, в квадрат, куда не стреляют.

— Догадаться-то можно, — сказал Тимофей Васильевич, — а вот перейти — не очень. Кроме того, догадка — не больше чем догадка, и у догадавшегося нет никакой уверенности, что он все правильно понял и что его тут же не обведут вокруг пальца.

— Да им плевать, догадаются наши или не догадаются, — раздался чей-то раздраженный голос из темноты. — Я слышал, они даже по радио и телефону на фронте переговариваются без всяких там шифровок. Натя, мол, разгадывайте, сколько хотите, нам плевать на вас — все равно ничего не сумеете сделать. А наши всю жизнь шифруются, прячутся. А чего шифруют, чего прячут?

Сергей встал, у него дергались губы.

— За такие разговоры... — сказал он. — За такие... Сейчас... Расстреливать надо!

Он еще что-то хотел сказать, но мама мешала, тянула его за рукав, он отбивался.

Из темноты спокойно сказали:

— Правильно, расстрелять. Чтобы правды уже и не слышать. Этому мы здорово научились.

— Ма, — сказал Сергей, — где ребята?

Он давно уже хотел задать маме этот вопрос, но все тянул, чтобы не обидеть ее. А теперь было самое время уйти.

— Дежурят у второго входа.

— Так я пошел.

— Сергей! — крикнула мама.

— Да?

— Будь осторожен.

— Буду.

Он сделал еще несколько шагов, и опять мама позвала:

— Сергей!

Сергей помолчал, будто не услышал, но мама все же повторила:

— Будь осторожен.

Сергей уходил, а сзади до него доносилось:

— Нет, вы подумайте — «расстрелять!» Как легко у нас это произносятся! А ведь едва из пеленок вырос...

Кто-то убеждал: «Не надо болтать». Что-то горячо и убедительно говорила мама. Анна Павловна и Тимофей Васильевич молчали. А Сергей никак не мог справиться со

страстями, бушевавшими в нем. Он боялся, Тимофей Васильевич решит, что «расстрелять» относится и к нему; ему хотелось подойти к тому типу, который так многозначительно бубнит «не надо болтать», и сказать ему: «Я-то не побегу доносить». И наконец он с ужасом чувствовал, что и ему самому хочется кричать, кого-то обвинять: «Смотрите, эти проклятые фашисты умеют делать свое дело! Бомбят по квадратам, и вообще все у них по плану, а вы только кричите!»

Подвал под домом тянулся буквой «Г». Когда-то в меньшей его части стояли печи и большой котел парового отопления, зимой постоянно дежурили истопники. За несколько лет до войны котел убрали, сломали печи — дом подключили к центральной системе городского отопления. В большей части подвала располагались кладовки жильцов — длинный ряд дощатых клеток, сквозь которые виднелись пустые бочонки, индивидуальные запасы угля и дров, старые кровати, ржавые кастрюли и другое барахло, неведомо почему не выброшенное в мусор. Хозяева кладовок в подвал спускались очень редко, и деревянные клетки давно были затянуты толстой и сырой подвальной паутиной. Чаще всех в подвале, конечно, бывали мальчишки, подвал для них был таким же притягательным местом, как, скажем, чердак или крыша.

В первые дни войны на каком-то воскреснике подвал слегка почистили, а над дверями обоих входов повесили таблички «Бомбоубежище». Потом стали чистить основательнее и наконец еще перед тем, как Сергей уехал в колхоз, сломали все дощатые клетки, выкинули ненужное барахло, а индивидуальные запасы угля перетащили туда, где когда-то стоял паровой котел. В этом новом, чистом и просторном подвале за каждой семьей закрепили место, чтобы не путаться во время тревоги. Каждый должен был располагаться там, где раньше стояла его кладовка. И вот огромный четырехэтажный дом полностью перекочевал под землю.

Сергей торопился к ребятам. Как всегда, когда он шел к ребятам, он боялся опоздать к самому интересному. Оно, это интересное, произойдет, ребята его уже все вместе переживут, а ты потом уязвленно слушаешь рассказы от том, как это происходило.

Первым увидел Сергея Хомик. Он крикнул:

— Гля, Ласточка-Звездочка! Я говорил, он придет!

Его встретили радостно: вот и Сергей здесь, вот почти все и в сборе! Как до войны. Но о колхозе, о том, что он видел по дороге домой, спрашивали вяло. Оживились только, когда Сергей рассказал, как он шел под бомбежкой через город: «В дом Ленки Зеленого бомба попала? Сам видел? Ну?!»

— А как вы тут? — спросил Сергей.

— Смотри сам, — сказал Сявон. — Смотри, Ласточка-Звездочка.

Сявон был суров и величествен. Даже его «собачьи» брови были величественны. Он сейчас немного хвастал перед Сергеем, хвастал этими пожарами, которые становились все виднее и виднее на темнеющем небе. И все сейчас немного хвастали перед Сергеем, говорили с ним покровительственно. И правда — что он видел в колхозе, что он может рассказать им?

— Горит Дом Советов, универмаг, музыкальная школа... — начал перечислять Хомик. Он торопился показаться Сергею старожилом в этом разбомбленном городе.

Ему подсказывали:

— Финансово-экономический институт.

— Филармония.

— Театр.

— И театр?!

— Прямое попадание.

Сергей молчал. Он был подавлен.

Самолеты уходили. Зенитки провожали их за город.

Потом зенитки замолкли, и где-то далеко по самолетам ударили из винтовок, зачастили из пулеметов.

— И пушками, и пулеметами, — сказал Сергей зло, — и все никак не собьют. А они себе долбают спокойненько по квадратам.

— То фронт, — оборвал Сявон, верный привычке многозначительно, будто уличая собеседника в невежестве, произносить обыкновенные слова.

— Где? — потрясенно спросил Сергей.

— А вот сам послушай, — сказал Сявон.

— Разное говорят... — начал Сагеса.

— Чего «говорят»! — перебил Сявон. — Слышно же! За Заводским городком. Ночью лучше будет слышно. Из пушек уже бьют иногда по городу.

— То дальнобойная, — сделал осторожную поправку Сагеса.

— Ты знаешь, — сказал Хомик, — Гайчи на фронте. Ушел с ополчением. Только он ушел, а отцу глаз осколком стекла повредило. Он дома лежит. В подвал не спускается.

— Не боится? — поразился Сергей.

Хомик пожал плечами.

— Больной же, — сказал Сявон, — ему покой нужен, а то глаза лишится. Да и не один он не спускается. Гладыш из одиннадцатой квартиры тоже не выходит. «Мне, — говорит, — все равно где умирать». Пенсионер же.

— Надо к ним сходить, — предложил Сагеса.

— Пошли к Гайчиному батю, — кивнул Сявон.

Поднялись из подвала во двор и огляделись. В детстве была такая игра — затаиться в темной комнате и ждать, пока кто-нибудь войдет, чтобы дико заорать над его ухом. Она была интересна тем, что сам пугающий начинал бояться темноты и орал уже от страха. Сейчас у Сергея было такое ощущение, что кто-то или что-то гигантское внимательно поджидает их в темноте. На него не заорешь, чтобы испугать собственный страх. В тишину, потрескивавшую слабыми винтовочными и пулеметными выстрелами, не верилось. Это была тишина у жерла ищущего цель орудия. Она могла мгновенно разразиться пальбой и грохотом разрывов. И пальба, и разрывы неслышно присутствовали в этой тишине. И еще в ней было то самое, отчего женщины переписывали заговор от нечаянной смерти.

Сергей украдкой поглядывал на ребят — боятся ли они? Сявон деловито-тороплив, Сагеса тоже, Хомик тоже. Может, если на Сергея посмотреть со стороны, он тоже деловито-тороплив?

Странно было войти в парадное, ведущее в абсолютно пустые квартиры. Странно, что лестница сохранила свой годами въевшийся запах — у каждого парадного свой запах. Тревожным казалось эхо от своих же шагов (никогда раньше здесь не слышали эха), страшно было подниматься от земли.

Лучины жили на третьем этаже. Дверь в квартиру не заперта. Сявон постучал на всякий случай, потом приоткрыл дверь и крикнул в темноту:

— Иван Лукич, вы здесь? Это мы.

Из дальней комнаты слабо отозвались. Суетливо теснясь друг к другу, опасаясь сбить в темноте какую-нибудь вещь, ребята ощупью — расположение комнат в квартире Гайчи им было давно известно — прошли в спальню.

— Иван Лукич, — сказал Сявон, — это мы. Может, вам чего нужно, Иван Лукич? Мы сделаем.

— Это ты, Слава? А Гарик ушел на фронт. Знаешь?

— Знаю.

— А кто с тобой?

— Сергей, Генка, Мика.

— Сергей же в колхозе?

— Он вернулся.

— Я вернулся сегодня, — сказал Сергей.

— Вернулся? А Гарик ушел на фронт. Ты знаешь?

— Знаю.

— Вы извините, ребята, — сказал Иван Лукич, — я вас не вижу. Поврежден-то у меня один глаз, а перебинтованы оба. Врача на работе не было, а сестра говорит: «Пока врач не посмотрит, с глаз повязку не снимайте». Я-то, конечно, приподнимаю краешек, если что надо, но стараюсь это делать не часто... А Генка — это какой? Сагеса, что ли?

— Сагеса, — подтвердил Сявон.

— А ты знаешь, Геннадий, что Гарик ушел на фронт?

— Знаю, Иван Лукич.

— Ты понимаешь, такой хитрец! Пошел относить тетке завтрак и не вернулся. Записку мне переслали, что вдвоем ушли с ополчением на фронт. Тетка будет перевязки делать, а он стрелять.

— Он хорошо стреляет, Иван Лукич, — сказал Сагеса. — Он в тире лучше всех из духового ружья стрелял.

— На фронте не из духовых стреляют, — сказал Иван Лукич. — Да и немцы небось тоже неплохие стрелки.

— Да что немцы! — сказал Сявон. — Вот увидите — наши скоро их погонят. Мне один военный говорил...

— Вот видишь, — усмехнулся Иван Лукич, — ты меня уже успокаиваешь.

— Да нет, — смутился Сявон, — мы же пришли узнать, чем вам нужно помочь. Может, в подвал спуститесь, Иван Лукич? Мы вам кровать несем.

— Сын на фронт ушел, а отец — в подвал?

— Да при чем тут это?

— Иван Лукич, — вмешался Сагеса (как старший, он должен был бы сам вести этот разговор, но Сявон все время мешал), — у Сергея отец и двоюродный брат на фронте, у меня — отец, у Славки тоже. Мы же из-за этого не выбегаем во время бомбежки на улицу.

— Я же шучу, ребята. Разве вы сами не видите? Мне просто нужен покой и врач. А бомба, я уверен, сюда не упадет. Зачем ей сюда падать, правда?

— Иван Лукич, — сказал Сявон, — мы сбегает за врачом. Я знаю, тут недалеко один врач живет. Бридман или Бровман.

— Бровман. Только Бровман — специалист по желудочным болезням, а мне нужен глазник. А где сейчас взять глазника?

Сергей давно уже не вникал в то, что говорили. Все внимание его было сосредоточено на том, что у него делалось внутри. Там работал какой-то неумолимый часовой механизм. Он начал стучать сразу после того, как самолеты ушли. «Улетели, но скоро прилетят опять», — отстукивало внутри.

Когда вышли из подвала, секунды побежали тревожней и торопливей. Они почти захохотали, когда ребята поднялись на третий этаж. А теперь Сергей всего себя чувствовал механизмом какой-то адской машины, отбивающей последние секунды перед взрывом.

Надо было уходить отсюда, пока не поздно, но Сявон почему-то медлил, и Сергей не осмеливался его поторопить. Но вот вдаль ударил выстрел зенитки — Сергей его услышал первым. Это, конечно, мог быть случайный выстрел, но сразу же за первым хлопком ударили еще две пушки, и опять стал накатываться на город оружейный гром.

Предчувствие не обмануло Сергея.

— Пошли! — скомандовал Сявон.

На лестничную площадку выходили, стараясь не опережать друг друга.

— Стойте, — сказал Сявон. — Подлецами будем, если не достанем Лукичу глазника. Правильно? Гарик на фронте, — слышали, как говорит? — а мы его бате глазника не достанем? Сбегает к Бровману, он должен знать, где живет глазник. А здесь кто-нибудь останется. Хотя бы Сергей. Он с дороги устал, быстро не побежит. Решено?

— Да, — сказал Сергей. Он не знал, как осилил это «да». Оно отозвалось в нем похоронным звоном. Но ничего другого он сказать не мог. — Только поскорее, — попросил он, — мать будет беспокоиться.

— Ничего, Ласточка, — крикнул на бегу Сявон, — пусть побеспокоится!

По лестнице прогрехотали опережающие друг друга шаги, хлопнула входная дверь, и все затихло.

Теперь ничто не мешало Сергею прислушаться к грохоту накатывавшихся зенитных разрывов. Он стоял на лестничной площадке и всматривался в окно, даже не в окно, а в стеклянную, почти во всю ширину лестничной клетки стену — такое большое это было окно. За ним была зыбкая, встряхиваемая зенитной пальбой темнота. И вдруг эта темнота, плаваясь, зашипела и вспыхнула бледным, пронзительным светом. Вспышка была так сильна и так ослепляюща, что казалось — энергии ее хватит лишь на одно мгновение. Но свет не гаснул. Его ровная, присматривающаяся к земле мощь нисколько не убывала. Даже наоборот...

Сергей заметался. То есть все в нем заметалось. Сам он оставался на месте и, вцепившись в перила, смотрел сквозь стекло на пустынные коробки домов, на этот вымерший, перебранный под землю город, в котором он, Сергей, один-одинешенек стоит над землей, отделенный от людей тремя предательскими этажами.

Отсчитывающий секунды механизм уже остановился, минута взрыва наступила, но взрыв все медлил и медлил. Вынести это не было никаких сил. И все-таки Сергей стоял у окна. Потом в грохоте стрельбы он различил вой бомбы и лег на лестничную площадку, отвернув лицо от стеклянной стены. Ах, как долго летит бомба, как надрывается она от собственного рева! Кажется, она сама не выдерживает этого страшного рева и только потому разрывается пронизанным ненавистью ко всему живому грохотом... Три этажа вместе с их бетонными перекрытиями стремительно оборвались под Сергеем. Он поднял голову — все на месте, лишь звенят на лестнице разбившиеся стекла.

И опять вой...

Сергей вскочил и бросился в ярко освещенную квартиру Ивана Лукича. Свет был дневной, только тени от вещей по-ночному черные. В прихожей Сергей увидел тумбочку, висячее зеркало над ней, несколько пар ботинок и галош под вешалкой, распахнутую дверь в уборную, тусклый кафельный пол под умывальником, еще одну полуприкрытую дверь. Он толкнул ее и увидел Ивана Лукича. Было странно, что Иван Лукич непричесан, что на кровати он сидит полуодетый, было странно видеть у него на голове белую повязку, приподнятую над здоровым глазом.

— Боишься? — спросил Иван Лукич.

Сергей кивнул.

— И правда страшно. Необыкновенно сильный свет. Так и кажется, что тебя одного высматривают.

Сергей кивнул.

— Но в общем это же не опаснее, чем днем. А дневную бомбежку мы уже сколько раз переживали. Город-то большой. Кидает, кидает, а у нас с тобой все равно остается много шансов.

Слова Ивана Лукича не задерживались в сознания Сергея. Важно было, что Иван Лукич говорил спокойно. Важно было, что он что-то доказывал. У Сергея мелькнуло воспоминание о теории вероятности. Мелькнуло и исчезло. Гарик не раз говорил, что теория вероятности дает гарантию против второй бомбы.

— На фронте бомбы кидают прямо в тебя, специально целятся, и то вероятность попадания ничтожна. На одного убитого тратятся тонны взрывчатки и сотни выстрелов. А тут швыряют с такой высоты, а город-то огромный. Понял?

Сергей кивнул. Это у Гайчи и у Ивана Лукича было семейное — страсть к математическим выкладкам.

И все-таки Иван Лукич тоже боялся. Почему Сергей не спустился в подвал, он спросил только тогда, когда потухла осветительная ракета и напряжение бомбежки немного спало. Самолеты, должно быть, заходили на новый круг, зенитная пальба сдвинулась к окраинам.

— Ребята за врачом пошли, — сказал Сергей.

— Слава, Геннадий и Мика?!

— Да. Они быстро!

Иван Лукич испугался по-настоящему:

— Но ведь если с ними что случится...

Он поднялся, засуетился, высунулся в окно:

— Это же бесполезно. Где можно сейчас найти врача?

Но врача все-таки привели. Толстый испуганный мужчина появился на пороге и сразу же заявил:

— Предупреждаю — в такой обстановке я мало чем могу быть полезен. Чем-нибудь помочь я вам смогу только в больнице. И потом: посылать за мной в темноте, во время бомбежки — значит слишком хорошо думать о людях. И, пожалуйста, поменьше разговоров. Организуйте место, где я смогу вас посмотреть.

В уборной ребята закрыли одеялом окно, зажгли керосиновую лампу. Осмотр длился ровно одну минуту.

— Сожалею, — сказал доктор, — но и в больнице я вам уже не смогу помочь. Однако и с одним глазом люди прекрасно живут и видят. Будьте здоровы и не посылайте ребят по этой бомбежке к другому врачу, чтобы проверить мой диагноз.

Мальчишки не ложились спать до глубокой ночи. Лазали с Мексом на чердак и на крышу — не тлеет ли здесь не замеченная с земли зажигалка? Убирали осколки стекла в парадных. До войны мальчишки были в оппозиции к большинству взрослого населения дома. Они прекрасно видели, что взрослые слишком часто не те люди, за которых стараются выдать себя детям. И ничьего этим взрослым не прощали. Ребята свято верили: только они, мальчишки и девчонки, сумеют стать действительно такими людьми, за которых взрослые себя лишь выдают. Только им, нынешним мальчишкам и девчонкам, будут под силу несгибаемая чистота правды, самоотверженность товарищества, пылкость любви. Разумеется, ребята знали, что на свете много и настоящих взрослых — героев. Они совершают беспосадочные перелеты на Северный полюс, дрейфуют на льдинах, поднимаются в стратосферу. Но эти герои прописаны не в их доме. В их доме жили самые обыкновенные, самые заурядные взрослые: рабочие, конторщики, техники.

Война сразу же подравняла и сблизила детей и взрослых.

Раньше, например, Мекс и Сявон были злейшими, беспощаднейшими врагами, сейчас они примирились.

...С крыши ребята видели, как бьет немецкая дальнобойная артиллерия через город и реку, вдоль дороги, по которой Сергею так счастливо удалось проскочить домой и по которой еще предстоит пройти Тейке, Аннушке, ребятам (вдруг они сейчас там идут!)

Беззвучные разрывы кучно рвали темноту. Вспышки были так сильны, что Сергей до боли в глазах всматривался: не увидит ли он при их свете далекую дорогу, людей, бегущих по ней? Он вспоминал: снаряды рвутся как раз там, куда он с ребятами в весенние разливы ходил за раками. Весной река разливалась километров на двенадцать. По ночам было видно, как отражаются в воде на левом берегу огни соседнего городка. Утром мальчишки переходили по мосту на высокую насыпь шоссе и на втором километре, у полосатого столбика, спускались к насыпи прямо в воду. Они брели к далекому островку, который не заливало в любое половодье. Плохо плававший Сергей шел, тревожно ощупывая ногами илистое дно, холодел, когда оно вдруг начинало уходить вниз, с восторженным ужасом оглядывался: кругом вода, вода и вода!

Сейчас по той насыпи, по повозкам, по автомашинам била немецкая артиллерия, и запаздывавший гром разрыва приносил на крышу отзвук причиненного снарядам несчастья.

Часа в три ночи Сергей, укладываясь на жесткий матрац, расстеленный на пустых ящиках рядом с маминой кушеткой, прислушивался к шепоту двух старух.

— Слышали, немцы бросают листовки, что побьют всех коммунистов за то, что они Христа распяли...

— Немцы не выносят, когда много ругаются. А наши, известно, какие ругатели. Ни святого не щадят, ни материнского имени.

Старухи были древние, и несли они страшную старушечью чушь. Но удивительно — какой-то стороной эта страшная старушечья чушь задевала и Сергея. Своим ослабевшим разумом старухи пытались объяснить чудовищное разрушение и убийство; потускневшим, но не злым разумом старухи пытались найти хоть сколько-нибудь приемлемые для них причины, которые толкают страшных немцев (но не звери же они!) на это разрушение и убийство. И в том, что старухи искали «не там», что «там» они просто и не могли бы искать, было что-то человеческое.

Снился Сергею отец. Он снился ему небритым, как будто только что вернувшимся из командировки. Небритым отец нравился Сергею. Лицо его тогда переставало быть лицом служащего, лицом, как отец сам говорил о себе, человека умственного труда. Тогда сразу становились заметными толстые короткие пальцы отца, его широкая грудь, невысокий лоб, словно вместе со щетиной из-под кожи проступала наследственная, дедовская крестьянская складка, кряжистость и простоватость, очень приятные Сергею. Снилось Сергею, что он принес судки с обедом во Дворец культуры электриков, а часовой не пускает наверх: «Нет твоего отца, уехал, с дороги напишет». Но Сергей не верит, что-то ему подсказывает: нельзя верить! Он бежит наверх и там за отодвинутым от стены стендом находит отца. Отец смотрит на него и смущенно поглаживает небритые щеки и подбородок. «Понимаешь, — говорит он, — не могу к тебе выйти. Здесь негде побриться».

Сергей проснулся испуганный — он слышал, что небритый снится к недоброму. К рассвету улицы города ожили. По ним, используя двухчасовую передышку, потянулись к переправам тысячи беженцев.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Сергей постепенно привыкал к бомбежке. Удары часового механизма, который отсчитывал в нем секунды перед налетом, уже не были так болезненны. Несколько раз в разгар бомбежки он лазил на крышу сбрасывать зажигалки, бегал к соседям в шестиэтажный дом тушить запущенный пожар — зажигательная бомба успела прожечь крышу, чердак и свалиться огнем в верхнюю квартиру.

Город горел. Днем, в минуты затишья, даже в отдаленные, нетронутые кварталы вползали неторопливое потрескивание и шелест — звуки тропически знойного дня, звуки пожара.

Освоившись с бомбежкой, уловив ее ритм, мальчишки почти каждый день выходили в город. («Идем на чердак дежурить», — сообщали они поначалу матерям. Потом ограничивались простым: «Ма, я пошел». Родительская власть исчезла.) Они шли стеклянно хрустящими улицами, перегороженными рухнувшими столбами электросети. Иногда столбы, накрываясь, повисали на собственных проводах, цеплялись за ветки деревьев — деревья лучше выносили бомбежку. В центре — коридор из горящих зданий. Жилые дома отстаивали сами жильцы, но никто не мешал гореть гигантскому недостроенному Дому Советов, финансово-экономическому институту, кинотеатрам, радиокомитету. Пожар здесь не полыхал, не рвался к небу, — он медленно съедал деревянные перегородки, назойливо дымил, оплавлял стены домов сажистым стеклянным шлаком. Горели и строительные леса недавно заложенного универмага, в котором, писали газеты, должны были работать грузовые лифты, ресторан и маленькое кафе-мороженое.

Люди не мешали пожару, и он не торопился.

Если бомбежка заставляла ребят на улице, они прятались в баррикады с богатырской кирпичной грудью, которыми были перегорожены почти все улицы. Но они не сидели все время бомбежки, сжавшись в темноте. Они выбегали наружу смотреть, как отрываются от самолетов черные капли бомб. Охотились за еще теплыми осколками зенитных снарядов. Странно, это была игра, обыкновенная мальчишеская игра. И еще, конечно, желание победить страх.

Страх медленно отступал. На десятый или одиннадцатый день бомбежки Сергей вдруг подумал о себе, что он счастливец. Если его до сих пор не убило, то, наверно, и совсем не убьет. И правда, зачем в его жизни было так много любви, так много хорошего и плохого, если его должны убить? Если его должны убить, все было бы проще и грубее. Сергей никому не рассказывал об этих своих мыслях — он прекрасно понимал их «научную» ценность. Но он и не изгонял их — ведь они помогали победить страх.

Больше всего Сергея сейчас волновало, будут ли в городе уличные бои. Он прицеливался из баррикадных амбразур в перспективы улиц, откуда, прячась за деревьями и прижимаясь к стенам, должны были появиться немцы. Но пока немцев там не было.

В городе вообще почти не было военных. Военные были за городом, там, где трещала и ломалась пулеметная и винтовочная пальба. И когда однажды перед рассветом главные улицы заполнились густым шорохом человеческих шагов, лязганьем гусениц и сигналами автомобилей, в подвалах домов поняли: настала та самая минута, в которую никто так до конца и не верил.

Солдаты отступали двумя потоками — к мосту у ковша и к понтонной переправе, переброшенной саперами у северной окраины города. Солдаты шли угрюмые, пыльные, серые. Усталость делала их мелкорослыми, щупловатыми. С самого утра немецкие самолеты повисли над переправами, и многие наши части по два, а то и по три раза проходили мимо Сергеева дома то в одну, то в другую сторону — от разбитого к еще уцелевшему мосту.

В минуты затишья из подвалов выходили женщины. Смотрели молча. Плакали. Ребята бежали следом. Проводят одну часть на квартал и привяжутся к новой.

— Ухóдите, дяденька? — спрашивал Сявон.

Солдат молча кивал. Но Сявона этот ответ не удовлетворял. Он, наверно, и сам не знал, чего хотел, потому что упорно спрашивал снова и снова:

— Ухóдите, дяденька?

Иногда ему не отвечали совсем, иногда сердито прикрикивали. Сявон не обижался. Он не замечал ни тех, кто ему отвечал, ни тех, кто прогонял его.

— Ухóдите, дяденька? — спрашивал он.

Потом Сявон начал выпрашивать оружие. Вместо «уходите, дяденька» он говорил:

— Дяденька, лишний наган есть?

Конечно, лишнего нагана не оказывалось.

— Кто тебе даст наган? — убеждал Сявона Сагеса. Но Сявон не слушал. На Сявона *нашло*. И ребята ходили за ним, не споря.

Потом было решено отправиться в поиски за оружием. Часа полтора мальчишки лазили в подвалах горящего Дома Советов, но ничего путного не нашли. Правда, Хомик отыскал спортивную тозовскую мелкокалиберку, но кто ж в современную войну воюет таким оружием! Тозовку хотели разбить, но до времени решили подождать. Пока не найдется что-нибудь получше.

Получше нашлось в проходном дворе. Между мусорным ящиком и домом Сявон заметил серый сверток — гимнастерку, противогаз, подсумок с патронами. Там же оказалась трехлинейная винтовка, в нескольких шагах валялась зеленая каска.

Сявон вытащил винтовку, щелкнул затвором — все на месте: патроны в магазине, патрон в канале ствола.

— Даже затвор не выбросил, — осуждающе сказал Сагеса.

— Этого гада из его бы винтовки, — сказал Сявон.

— Местный какой-нибудь, — предположил Хомик. — Переоделся и отсиживается в подвале.

Винтовку и патроны взяли. Подумали и взяли каску. Сявон надел ее и потребовал у Сагесы:

— А ну, ударь прикладом!

Сагеса ударил.

— Сильней!

Сагеса ударил сильнее, но все еще осторожно, и Сявон еще раз попросил, чтобы ударили сильнее. Каску с потемневшим от чьего-то пота кожаным амортизатором по очереди надевали Хомик, Сагеса, Сергей и с боязливым восторгом ожидали, когда их ударят по голове.

— И не больно! — удивлялись они, как хитро это придумано: тебя бьют прикладом по голове, а голове не больно.

Конечно, мальчишки лукавили, они сами били не сильно и знали, что их тоже бьют с оглядкой. Но все же удивлялись. Каску тащили квартала два и все-таки выкинули. Куда ее деть? Винтовка тоже не приводила в восторг.

— Образца тысяча восемьсот девяносто какого-то года, — неодобрительно говорил Сявон, рассматривая стертый лак на ложе и забеленный многочисленными протирающими когда-то вороненый ствол.

Винтовка была слишком велика для ребят. Она, понятно, совершенно не годилась для партизанской войны в городе. Да и от своих, взрослых, которые сейчас же поднимут панику, как только увидят оружие, ее тоже трудно прятать.

— Не найдем пистолеты — сделаем обрез, — сказал Сагеса.

— Какой он будет длины? — спросил Сявон.

Сагеса показал.

— Все равно велик, — остался недоволен Сявон, — и не спрячешь, и стрелять неудобно.

Во двор винтовку проносили, сомкнувшись вокруг нее вчетвером. Спрятали ее между корнями дикого винограда и кирпичной стеной соседнего дома.

— Потом придумаем, что с ней сделать, — сказал Сявон, — а сейчас айда на набережную. Там сильнее бомбит, может, там что найдем.

Набережная — огромная портовая территория, застроенная складскими зданиями, амбарами, заваленная песочными, гравийными, угольными курганами, перерезанная ведомственными заборами, — и правда стала ловушкой для военной техники. В ее тупиках, поворотах, переездах через железнодорожные рельсы застревали грузовики, водители которых стремились пробраться от одной переправы к другой, не выезжая в город, а прямо по берегу. В одном месте ребята увидели даже брошенный танк. Он невесть как попал в загороженный каменным забором складской двор: забитые наглухо, засыпанные с внутренней стороны высоким холмом паровозного шлака, старые железные ворота давно не открывались, а сквозь неширокую калитку танк никак не мог проехать.

На набережной ребята натыкались на первых неприбранных убитых. Все убитые казались очень маленькими людьми, просто малышами. В солдатском строю они, наверно, бывали замыкающими, вроде тех коротышек, которые всегда в одиночку — им не хватает места в последнем ряду — вприпрыжку догоняют свой взвод или свою роту. Пристраиваются и никак не могут пристроиться, ловят «ногу» и никак не могут поймать. Вокруг убитых образовалась гнетущая тишина, настороженность не растворившейся в воздухе, поджидающей новых жертв опасности. Сергей старался стороной обходить эти места. Но обойти не всегда удавалось. Тогда он как-то особенно пристально видел вяло подломленные или остановленные в энергичном движении руки, равнодушные к жужжанию осенних мух, серые лица. Это равнодушие серых лиц и было самым страшным в убитых.

Сявон смело подходил к мертвым, но и на мертвых пистолетов не было. Если бы, конечно, поискать в карманах... Но в карманах искать никто не решался.

Ребята лазали по закоулкам набережной, а на затылки им словно что-то давило. Может быть, постоянный гром бомбежки на переправах, может быть, иногда падавшие на набережную артиллерийские снаряды. Привыкнув к бомбежке, мальчишки пренебрежительно относились к артиллерийской стрельбе. К тому же до сих пор по самому городу артиллерия не была. Воюющие траектории проходили где-то высоко над домами — снаряды рвались вдоль единственной дороги из города по двенадцатикилометровой залиманенной пойме реки. Изредка снаряды сбивались с пути и рвались в городе, но эти одиночные взрывы никого не могли напугать. Один снаряд даже попал в дом, где жили мальчишки. Он пробил крышу, вошел через потолок в квартиру Макарьиных, вывалил на улицу большой кусок стены и сам вместе с кирпичами плюхнулся на проезжую часть асфальта. Так он и лежал — длинный, тяжелый, иссиня-черный, перекалившийся в воздухе, хотевший разорваться и не разорвавшийся. О том, что снаряд попал в дом, несколько часов никто не догадывался. Лишь после бомбежки старуха Макарьиха поднялась зачем-то к себе и закричала от страха...

И сейчас снаряды вдруг срывались с накатанной в воздухе дороги, соскальзывали, будто неожиданно для самих себя, в сторону и падали на набережную, на улицы, близкие к порту. Один такой снаряд угодил в угольный холм, от которого мальчишки были шагах в двухстах. Они увидели черную грузную вспышку, черную пухлую тучу, едва не поднявшую в воздух весь тяжелый холм, и, улегшись на землю, нюхая мазут и масло, которые подтекали из букс брошенных товарных вагонов, пережидали, пока осыплются на землю куски угля и штыбная пыль.

Оттого, что мальчишки ходили все вместе, опасность для них значительно увеличивалась. Они изо всех сил хвастались друг перед другом, старались «не гнуться» перед снарядами.

На набережной им довольно часто попадались винтовки и патроны к ним, но пистолетов по-прежнему не было. Тогда было решено запастись гранатами и взрывчаткой. Два раза ходили домой, набив карманы плоскими брусками тола, засунув под рубашки зеленые колотушки пехотных гранат. А потом, расхрабрившись, взяли за веревочные ручки тяжелый деревянный ящик с длинными, уложенными в специальные гнезда минами и оттащили его к себе на чердак. Идея была проста — миномета у них, понятны, нет, но если бросить мину с крыши в проходящую машину, то мина, безусловно, должна разорваться.

На другой день, едва рассвело, опять спустились к порту, пересидели утренний налет в брошенном танке и опять отправились за минами. Теперь взяли мины меньшего калибра — аккуратненькие снарядики, у которых стабилизаторы были

больше самой боевой части. Сявон предложил тут же, на набережной, испытать, как будет работать такая мина, если ее использовать как ручную гранату. Опять забралась в танк, прикинули к смотровым щелям, а Сявон из башни одну за другой швырнул две мины. Обе не взорвались.

— Надо отвинтить колпачок над взрывателем, — сказал Сявон, — как думаешь, Сагеса?

Сагеса побледнел. После того как Гайчи ушел с ополчением, Сагеса как-то стусевался, ходил всюду с ребятами, но на свою роль старшего, ведущего не претендовал. Он послушно бил Сявона прикладом, когда тот просил его, сам надевал каску и ожидал, когда его ударят, и вообще делал то же, что и мальчишки, но все это без интереса. Наверно, Сагесе все это казалось не тем, что он должен делать. Сагеса давно, раньше всех в компании, даже раньше своих собственных лет, повзрослел. Он повзрослел с тех пор, как ушел из школы, с тех пор, как начал подрабатывать, починая разную хозяйственную мелочь — примусы, кастрюли, электроплитки. До войны он чувствовал себя взрослее Гайчи, собирался бросить школу и поступить работать, а Гайчи думал долго учиться. И вот теперь Гайчи в ополчении, а он с мальчишками лазает по набережной, собирает брошенное оружие, ненужно рискует жизнью...

— Попробуй, — кивнул он.

— А ну спрячьтесь! — приказал Сявон Хомику и Сергею (все-таки младшие!) и взялся за колпачок.

Но Хомик и Сергей не стали прятаться. Так и стояли они втроем — Сагеса, Хомик и Сергей, — не отрывая глаз от пальцев Сявона. Ничего не случилось, колпачок отделился от маленького, как детский кулачок, плотного черного тельца.

— А ну поддержи! — сказал Сявон Сергею и протянул ему мину без колпачка.

Сявон опять поднялся в башню, стал попрочнее на железное, похожее на тракторное сиденье стрелка-башнера и опустил руку вниз. Как спичку, зажженную на ветру, передавал Сергей мину Сявону. Потом за танковой броней что-то стеклянно лопнуло и зазвенело.

— Как тысячесвечовая лампочка! — восхитился испуганный Хомик.

— А сколько осколков? — наставительно сказал Сявон. — А я что говорил? Мины — это то, что надо!

Солдатами, побывавшими в удачном бою, возвращались ребята с ящиком мин в город. Теперь они не боялись этих мин, теперь они были с минами на «ты».

— А вдруг бы взорвалась? — спросил Сагеса Сявона, когда уже подходили к дому. — В руках?

— А если б в немца кинули, а она не взорвалась? — спросил Сявон.

— В немцев! — неопределенно хмыкнул Сагеса. — До этого нам еще... А так откручивать... Что мы, на мусорной свалке головы нашли? — Он неведомо почему закипал. — Что мы, и так бы не узнали, как с ней обращаться? Вон солдат еще сколько в городе!

— А чего ж ты раньше не сказал?

Сагеса пожал плечами. Он был бледен, будто опять смотрел, как Сявон отвинчивает черный колпачок.

До своего дома ребята не дошли. Дома происходило что-то необычное — мальчишки это еще издали заметили. Обе половинки давно не открывавшихся ворот были раскрыты, в глубине подъезда виднелся плащ-палаточной окраски крытый кузов большого грузовика. Пришлось ящик с минами припрятать в ближайших развалинах.

— Пошли быстрее, — почему-то заторопился Сявон. — Может, это отец прикатил, а? — посмеялся он сам над собой (отец Сявона командовал автобатальоном). Но нервничал Сявон по-настоящему и торопился тоже.

У ворот ребят встретил Мекс.

— Твой отец приехал, — сказал он Сявону, — целый час здесь. Тебя, наверно, ждет. Поднялись с матерью и Сонькой наверх.

И Сявон побледнел, как Сагеса, когда Сявон откручивал предохранительный колпачок на мине.

Может ли за полчаса человек измениться? Когда Сявон вышел из дому, у него бесполезно было спрашивать, что делать с минами, которые они оставили в развалинах. Он просто не понимал, о каких минах речь. Отбившись короткими «не знаю», «да», «нет» от жадно окруживших его женщин, Сявон сообщил ребятам то, ради чего он спустился вниз.

— Уговаривает мать отступить вместе. Как стемнеет, все выедем. Я тоже.

И убежал домой. Потом опять спустился — принес галеты, полбанки мясных консервов.

— Ешьте. Я уже ел. — И мужественно глотал слюни, пока Хомик, Сагеса и Сергей хрустели пресным и солоноватым хлебом.

Он, конечно, мог бы есть с ребятами, они его звали, но тогда было бы не то торжество. И Сявон терпел.

Потом он по очереди водил смотреть на отца Сагесу, Хомика и Сергея.

Пока Сергей не побывал у Сявона, Славкина ликующая радость, которую он эгоистически и не пытался скрыть, казалась само собой разумеющейся. К Сявону *оттуда* (на шинах грузовика еще сохранилась пыль *оттуда*) приехал отец, и теперь для Сявона наступает новая, сразу же возвышающая его над ребятами, жизнь. Настолько возвышающая, что между ними уже сейчас не может быть ничего общего. И Сергей, и Хомик, и Сагеса неотвратно остаются ожидать своей участи, получать ее из рук врага. Они еще не убиты, не расстреляны, но это уже мало зависит от них самих, а вот Сявон — как киногерой, которого вдруг в самом последнем кадре спасают из петли... Все это было бы маловероятно, если бы не стоял в подворотне плащ-палаточной окраски грузовик. Он свидетельствовал, что чудеса на свете все-таки бывают, что за самым достойным в конце концов могут приехать военные грузовики.

Так думал Сергей, пока он не побывал в Сявонной комнате. Но едва он увидел потное, несчастное лицо Ивана Матвеевича, его осоловелые, упорные глаза, едва только понял, что Иван Матвеевич не ответил на внятное «здравствуйте» не потому, что он пьян, — Сергей почувствовал, как все непонятно усложняется.

В комнате Сявона царствовал уже накрепко въевшийся в пол и стены дух голода и разрухи. Посудный шкаф, большой обеденный стол, за которым сидел Иван Матвеевич, маленький туалетный столик — все было как-то бесстыдно и равнодушно обнажено. Куда-то девались скатерти и клеенки. С полным пренебрежением к ценному дереву обеденного стола — раньше он скрывался под бахромчатой скатертью — без всякой подставки стояла перед Иваном Матвеевичем черная чугунная сковородка. В комнате пахло голодной, обезжиренной, что ли, давно не прикасавшейся к пище пылью, стенами, от которых отстают обои. И еще пахло подгорелым тестом. Должно быть, на сковородке без масла жарили пышки.

Зинаида Николаевна, Славкина мать, сидела в стороне от стола, рядом с Сонькиной кроватью. Лицо ее, не очень приметное, но моложавое и мягкое, настолько моложавое, что Славка мог сойти и за ее младшего брата, было сейчас сосредоточено на какой-то одной то ли очень злой, то ли даже отчаянной мысли. И еще было в лице ее страдание, доведенное до такой степени, когда человеку хочется, чтобы его не трогали, чтобы его оставили наедине с его страданием, которое никто другой по-настоящему и понять не сможет. Должно быть, они давно спорили и обижали друг друга, и теперь Зинаида Николаевна отсела от стола к Соньке. Сергей прекрасно помнил, что именно так поступала и его мать, когда отец ее чем-то обижал: она приходила к Сергею и сидела с ним. Мол, мы все равно двое, а ты один, что бы ты ни говорил и как бы ни бесился. Во всех таких случаях Сергей, не рассуждая, принимал сторону матери. Но Зинаиду Николаевну Сергей сейчас не понимал и не мог не рассуждая сочувствовать ей, хотя вообще-то она ему больше нравилась, чем Славкин отец.

Правда, сейчас Славкин отец, Иван Матвеевич, был совсем не тем большим, суровым и крикливым человеком, которого знали ребята. Вот он поднял глаза, увидел наконец Сергея и Славку, улыбнулся через силу и спросил:

— Что, ребята, спирту, что ли, хотите? Так, что ли, Вячеслав?

— Ну если ты, папа...

— Найди бутылку, отолью. Тебе ж на всю братию?

Славка метнулся к шкафику и подмигнул Сергею.

На западе в который раз уже заработали зенитки. Ребята точно знали, через сколько минут самолеты будут над городом, и потому не торопились. Славка нашел бутылку, сполоснул ее на кухне, и Иван Матвеевич щедро отлил в нее из своей бутылки.

— Батя, — осторожно напомнил Славка, — кидать сейчас будет. Пойдем в подвал? Сонька боится.

— Ну, ты иди, — сказал Иван Матвеевич. — Налил я тебе — и иди. А мы с матерью тут посидим. От смерти в подвале не спасешься.

И отвернулся от Славки и Сергея, забыл о них. До войны Сергею собственный отец казался важнее Ивана Матвеевича. Отец — Сергей так думал — занимал более важный пост, лучше одевался, вежливее разговаривал с соседями, и дворник Мекс встречал его более низким поклоном, чем Ивана Матвеевича. А вот теперь Иван Матвеевич носит шпалу, он капитан, внизу его дожидается трехтонный автомобиль и молчаливый пожилой солдат-шофер, который почти не отходит от машины и сдержанно отвечает на все расспросы жильцов. Отец же — солдат, да еще во втором или третьем эшелоне. Армия и война совсем по-новому измерили людей. Измерили и изменили. Странен все-таки Иван Матвеевич в этих обнажающих его тонковатые и не очень стройные ноги галифе, в этой обтягивающей ширококостные, худые плечи гимнастерке. Штатский костюм его как-то скрывал, а сейчас даже потом от Ивана Матвеевича тянет, как от неодетого, и Сергею немного неудобно рядом с этим выпившим, несчастным, большим, смелым, только что вырвавшимся из-под немецкого огня человеком. Сергей просто не знает, как с таким человеком разговаривают.

— Зина, — говорит Иван Матвеевич, — я же специально вырвался в город, чтобы увезти тебя и Соню. Ведь такой случай! Людей же под огонь ставил!

— Мы тут уже месяц под огнем живем, — будто сжимая, а не разжимая губы, говорит Зинаида Николаевна.

— Ну, хорошо, хорошо, — сразу же соглашается Иван Матвеевич, — Я понимаю: вы, ты и дети, переносите не меньше... — Прямо над крышей лопнул зенитный снаряд, Иван Матвеевич даже не вздрогнул. — Но я-то при чем?

— Все вы ни при чем!

— Ну, хорошо. Ну, виноваты. Но ведь сейчас дело не в этом. — Оттого, что Иван Матвеевич много выпил, он не стал пьян, но это оглушает его, мешает говорить, он продирается сквозь эти помехи. — Просто надо собрать вещи и уехать.

— Собирай. Я тебя не держу.

— Дело не во мне. Я уже все собрал. Но ты и Соня. Ведь это последний шанс.

Как Иван Матвеевич терпелив и настойчив! Его оттолкнул, а он посидит-посидит и снова пытается пробиться к своей Зине:

— Господи, Зина, что с тобой?

Зинаида Николаевна молчит.

— Вот так с самого утра, — шепчет Сявон Сергею.

— Зина, если ты будешь молчать, я встану и уеду.

— Уезжай!

— Но ведь я в самом деле должен буду уехать. Я же не могу остаться!

— Я тебе уже сказала: уезжай!

— Ну объясни.

— Я тебе уже объяснила. В Соне жизнь, пока я дышу... Да что! Куда я с ней ночью, в машине и дальше — бог знает куда?

— Но здесь же еще опаснее! Ты же сама говоришь.

Зинаида Николаевна молчит.

— Зина!

— Ах, уезжай же ты, пожалуйста!

Иван Матвеевич наваливается грудью на стол, глаза его на мгновение становятся совершенно пустыми. Будто все-все из них исчезает, и только потом, медленно-медленно, и страдание, и непонимание, и упорство, и жалость возвращаются опять.

— Зина, — говорит он, — ты посмотри, что делается вокруг. Ведь у всех несчастье. У всех. Ну может, нас убьют. Может, меня убьют. Может, Соню. Но ведь у всех так. Я разве Соню меньше, чем ты, люблю? Ну, скажи — меньше?

Лицо у Зинаиды Николаевны остается замкнутым. Глаза сухи и даже будто ненавидящи, словно Иван Матвеевич каждым своим словом оскорбляет ее невыносимо.

— Я тебя прошу, — говорит она, — уезжай!

— Но я не могу так уехать.

Славка тянет Сергея за рукав.

— Идем, — шепчет он, — все равно уговорит.

Бутылка с разведенным спиртом жжет Славке руки. Да и Сергея спирт тоже непонятно тревожит. Они идут в квартиру к Сергею, перерывают все шкафчики, все кастрюли и наливают спирт в стаканы. Спирт обжигает небо, жжет внутренности, сухие манные котлеты не могут хоть сколько-нибудь заглушить это болезненное и отвратительное ощущение. Славке тоже противно и больно, но он разливает остатки спирта по стаканам, и Сергей, давясь, сдерживая рвоту, выпивает еще раз.

Как по валкой палубе добирается он до отцовской кровати, хватая ее, брыкающуюся, жесткую, за спинку и стремительно падает в раскачивающуюся темноту.

3

Часов в десять вечера, проспавши у себя наверху большую бомбежку, Сергей опять пришел к Славке. Сявона было невозможно узнать, он облачился в отцовскую военную форму — большие, обвисшие, будто из них выпустили воздух, галифе, гимнастерка, собранная под поясом в десятки толстых складок, желтый кожаный ремень. Сявона выручали только плечи. Даже под такой просторной гимнастеркой было видно, какие у него широкие, с выпирающими по-отцовски ключицами плечи.

— Ну как? — спросил неопределенно Сергей.

— Еду!

— Я не об этом, — померк Сергей. У него совсем не было сил радоваться невероятной удаче друга. — Голова?

— Разрывается! Прямо лопается! — восторженно ответил Сявон. Он был как на иголках. Вертелся, осматривал себя.

— Отец уговорил мать?

— Нет! Четыре машины пропустил, а она не соглашается.

— А чего она?

— Над Сонькой дрожит! А что ей сделается? Вон сколько людей гибнет, а она и сейчас над Сонькой дрожит! — Сявон озлобился. Ему совсем не было жаль упершуюся на своем мать, не было жаль и Соньку. Больше всего он боялся, что отец передумает и не возьмет его с собой.

Сявон то и дело выходил из кухни, где они разговаривали с Сергеем, и приоткрывал дверь в комнату. Сергей тоже заглядывал. Теперь на большом обеденном столе перед Иваном Матвеевичем коптил фитиль в пузырьке с керосином. Позы Ивана Матвеевича и Зинаиды Николаевны за целый день как будто не изменились. Будто они не вставали со своих мест, не выходили из комнаты. Все было как утром, лишь на щеки Славкиного отца и Славкиной матери полосами копоти легли черные тени.

— Зина, газеты не врут! Немцы никого не жалеют! Ни старых, ни малых! Ты думаешь, они пожалеют Соню? Ну, хорошо, никто не донесет. Но дом большой, всех людей мы с тобой не знаем. Жена коммуниста, командира Красной Армии...

Сявон с силой хлопнул дверью:

— И чего уговаривает! Не хочет — не надо!

Сергей молчал. Он понимал Сявона, но не сочувствовал его нетерпению. Сергею было жаль Зинаиду Николаевну, ему было жаль расставаться со Славкой. Уедет — исчезнет живое свидетельство того, что счастье может вот так, вопреки всему вдруг свалиться несчастнейшему человеку на голову. Уедет — и все в доме станет непривычным, словно обвалится огромный кусок здания. Еще не уехав, Славка становился чужим, плохо слушает, если ему говорят не о его отъезде, не о том, что он будет делать в части отца.

— На шофера выучусь. Да? Отец меня тогда не прогонит из армии. Могу же я быть при части, да?

И опять с раздражением прислушивается к тому, что делается в комнате, — есть ли вообще смысл мечтать дальше?

— А чего ж! Конечно, — уныло соглашается Сергей. Он тенью бродит за Славкой. Спускается с ним во двор, выглядывает на улицу, Славка опасается, как бы пятая машина не заблудилась в темноте и не проехала мимо.

Наконец машина появляется. Это тоже трехтонный грузовик, но с открытым кузовом. Фары его замазаны черным, и в этом черном засиненные прорези. Прорези почти не помогают шоферу различать дорогу, и потому грузовик ползет словно ощупью. Вот он остановился, открылась дверца.

— Вы не за капитаном Иващенко? — спрашивает Сявон нетерпеливо.

— За капитаном, — отвечает шофер. — А где капитан?

— Идите за мной.

Наверху Иван Матвеевич прощается с женой.

— Прости, Зина, — говорит он. В горле его рождается какой-то лающий звук, широкие плечи ползут вверх и зыбко, беспомощно дрожат. — Прости, Зина, — повторяет он и как-то нелепо, по-нищенски топчется в открытых дверях своей комнаты.

Потом, бессильно и бесстыдно плачущий, он проходит мимо Сергея в своей военной форме, пахнущей потом и кирзой сапог, тяжело топает по своему коридору, по которому ходил тысячи и тысячи раз.

Славка идет следом за ним и шепчет:

— Па, скорей, машина же ждет!

Славка успокаивается только в кузове грузовика, куда отец бросает ему одеяло. Только тут его перестает бить лихорадка нетерпения, и он вспоминает о Сергее и Хомике, которые молчаливо стоят в стороне.

— Ребята, — говорит Сявон и поднимает над головой сцепленные кисти рук, — я напишу. Как только можно будет, — поправляется он, — я напишу. А вы тут не тушуйтесь! Все равно немцам крышка!

Иван Матвеевич садится в кабину, хлопает дверцей, опять открывает дверцу, становится на подножку и оглядывает кузов.

— Все в порядке? — спрашивает он. — Поехали!

Сергей и Хомик стояли молча. Им как будто нечего сказать друг другу, будто даже как-то неловко им вдвоем. Они давнишние друзья, а без Сявона им нужно заново привыкать ходить и молчать вместе. Уж больно много заполнял Сявон во дворе, больно много значили для Хомика и для Сергея его смелые глаза и ироничная улыбка большого, некрасивого рта.

Машина сворачивает за угол и растворяется в тишине и темноте. Нет, счастье в этом мире штука редкая! На всех счастья явно не хватает. Вот на Сергея и Хомика его не хватило. Сергею и Хомику предстоит то же, что и всем. Всем, кто сейчас сидит настороженно в сотнях городских подвалов и бомбоубежищ.

Подходит тихо Сагеса.

— Опоздал проводить? — спрашивает Сергей.

— Я не хотел провожать! Просил Матвеевича сегодня: «Возьмите с собой». Слушать не стал. «Не имею права». Капитан!

— Проскочут они дорогу за рекой? — спрашивает Хомик.

— Проскочут! — говорит Сергей.

— Бьют же.

— Ну и бьют! Первый день, что ли?

Поднялись на чердак и оттуда долго смотрели на артиллерийские разрывы вдоль левобережной дороги. Огонь внутри вспышки от разрыва был такой плотный, комковатый, что казалось — он не расходится вширь, а, напротив, нагнетается внутрь этой вспышки.

Спать отравились, когда решили, что машина Ивана Матвеевича уже вышла из-под огня.

В подвале Сергей увидел Славкину мать с Сонькой на руках. Вокруг Зинаиды Николаевны установился круг выжидательного молчания. Женщины занимались своими делами и не смотрели в ее сторону. Но чувствовалось, что они *старались* не смотреть. Они чего-то не понимали. То, что произошло между Иваном Матвеевичем и Зинаидой Николаевной, не укладывалось в обычные, уже сотни раз обговоренные рамки, не вязалось с постоянными разговорами о том, что наши мужики бросают своих жен и что до войны хвастались и в кино, и в газетах, а теперь бегут, только пятки

сверкают, и что бабе некуда деться с дитем, и что Сонька всегда была болезненной, и Зинаида Николаевна из-за Сонькиной болезненности даже работу бросила. Все это было так. И все-таки женщины чего-то не понимали. Сонька температурила, часто дышала. Иногда она засыпала, и было слышно, какой хриплый органчик играет в ее грудке. Но засыпала она не больше чем на минуту и опять открывала глаза, капризничала, требовала воды, спрашивала, где отец, тянулась к платку старухи Макарьиной, а когда ей не давали его, поднимала рев. Рев переходил в жалобный кашель, Сонька утомлялась, затихала и засыпала. А через минуту все начиналось сначала. Зинаида Николаевна не разговаривала с Сонькой, не утешала ее. И когда Сонька спала и когда она кричала, Зинаида Николаевна, не повышая и не понижая голоса, с одним и тем же слепым выражением лица тянула:

— А-а-а, а-а-а!

Она тоже ни на кого не глядела. Наверно, ей тяжело было видеть людей. Она их враждебно отталкивала от себя — такой у нее был взгляд. Она никого ни о чем не просила. А когда старуха Макарьина сама предложила поддержать и покачать Соньку — пусть Зинаида Николаевна передохнет, — женщина даже не повернула головы.

Сонька опять начала плакать тоненько и жалобно. Ей было неудобно лежать и на правом и на левом боку. Она ругала мать: «Не умеешь! Все из-за тебя...»

— Здесь плакать нельзя! — погрозила Соньке пальцем старуха Макарьина. — Немец услышит, — и показала на темный свод потолка.

Сонька испуганно замолчала. Потом опять начала всхлипывать. Зинаида Николаевна поднялась, подхватила сползающее Сонькино одеяло и пошла к выходу из бомбоубежища.

— Господи, — сказала Макарьина, — да разве я что...

И женщин прорвало:

— Приехал! Только растревожил!

— При чем он?

— А Славку забрал! Залил глаза и забрал! Мальчишка хоть бы помог.

— Здорово Славка помогал! Дом взорвать или поджечь — это он мог.

— Ах, женщины, женщины...

Сергей толкнул Хомика и сказал матери:

— Ма, я пойду домой. Если бомбежки не будет, выплюсь в постели...

4

Проснулся Сергей, согретый радостным, давно забытым ощущением яркого света и утренней тишины. Так он просыпался летом, на каникулах. Откроет глаза, а над натертым до блеска паркетом дымятся в косом солнечном столбе много лет тщательно, но бесполезно изгоняемые из квартиры пылинки. Отец и мать уже ушли на работу, и он целый день свободен и один.

Сейчас паркет был тускл, но пылинки над ним в солнечном столбе клубились беззвучно и весело. Они чему-то безмолвно радовались. А сквозь окна в комнату вместе с солнцем вливалась где-то долго задерживавшаяся тишина.

Сергей сел на кровать и достал из брючного кармана письма отца. Обычные отцовские наставления сейчас почему-то не раздражали его. Сергей присматривался, прислушивался к словам, написанным на тетрадном листе, удивлялся каллиграфическому почерку (каких трудов он стоил отцу, когда он писал, сидя в вагоне-теплушке!) и представлял себе отца не таким, каким он был всегда, — подтянутым, суховатым, пахнущим парикмахерской и туалетным мылом, а таким, каким он открылся Сергею перед отправкой на фронт, каким снился ему во время бомбежек, — небритым, по-крестьянски простоватым, словно только что вернувшимся из командировки и еще пахнущим железнодорожным вагоном.

Раньше Сергею не приходило в голову задуматься, любит ли его отец. Спросили бы Сергея — самое лучшее, что он мог бы сказать об отце, он сказал бы словами матери: «У него тяжелый, но справедливый характер».

Сейчас Сергей видел — отец любит его. «Научи его сдержанности, — просит он мать, — он пылкий и невыдержанный...» Отец считает его способным на пылкий, отчаянный поступок. Если бы не любил — не считал... Сам себя Сергей не считает...

Сергей встал, прошелся по комнате, и сердце его сжалось. Пылинки только притворялись, что им весело клубиться над тусклым, каким-то голодным, истощенным паркетом. Паркет этот — за ним всегда так ухаживали! — был исцарапан и вообще как-то безнадежно заброшен. И все в комнате было безнадежно заброшено...

Тишину прорезал неопасный свист. Так плавно не могли свистеть бомба, или снаряд, или какое-нибудь другое ранящее или убивающее оружие.

Сергей подбежал к балконной двери, открыл ее и увидел темный двухфюзеляжный самолет, знаменитую «раму», которая с приглушенными моторами планировала над самыми крышами, вильнула вдоль изгиба главной улицы и, блеснув на солнце плоскостями, включила моторы и повернула на новый заход.

В тот самый момент, когда «рама» начинала свой разворот, с земли слабо ударила мелкокалиберная зенитная пушка. Ватный хлопок снаряда сразу же порывом ветра сдвинуло в сторону, и на минуту показалось, что это крошечное облачко выпустила сама «рама».

И опять крылья самолета просвистели над самыми крышами, и опять ударила пушечка, и бессильно повис в воздухе ватный хлопок разрыва. Это повторялось раз пять. Наконец Сергей понял ужасное значение этой тишины, бессильного упорства единственной оставшейся в городе зенитной пушки и безоглядно наглого полета корректировщика. Сергей схватил фуражку, сунул в карман письма отца и скатился по лестнице вниз. В подвале на него уставились испуганно и выжидающе. В бомбоубежище была такая растерянная и выжидающая тишина, какой Сергей не замечал здесь в дни самых свирепых бомбежек. Он отыскал Хомика и кивнул ему: «Выйдем во двор».

Вот и опять все во дворе стало каким-то новым. Осколки стекол, выбитых недавними бомбежками, Мекс убрал. Он подмел асфальт, собрал граблями в две аккуратные кучи опавшие листья акаций и дикого винограда, подмел приступки, ведущие со двора в лестничные клетки, счистил с них сшелушившийся цемент. Кучки этого белого дробленого цемента аккуратно прижимались к стене дома. Никто не просил Мекса это делать, никто не заставлял, — Мекс прибирал дом, как прибирают покойника. Сам Мекс, надутый и замкнутый — никому нет дела до того, что он думает! — медленно ходил по двору с лопатой и совком, что-то подравнивал, что-то отстукивал. Он не смотрел вверх. Там, наверху, куда еще никто не решался подниматься, была полная разруха. Ее нельзя было устранить, просто пригласив стекольщика и штукатура.

— Наших уже в городе нет? — спросил Хомик.

— Есть. Зенитка стреляла по «раме». И вот еще, прислушайся.

Хомик прислушался:

— Пулеметы? Может, то зенитные?

— Самолетов-то нет.

— Нет.

— Я думаю, это в Заводском.

— Похоже. Но точно отсюда не определишь.

Оба стояли нерешительно и смущенно. Обоих лихорадила одна и та же мысль. Можно было, конечно, ее и не высказывать, будто она и не приходила им обоим в голову. Тогда можно было бы подняться на чердак или в квартиру Сергея, благо из ее окон обзор и на улицу Маркса и на Синявинский, или идти в подвал, или вообще заниматься чем-нибудь таким, что не притягивает опасность прямо к тебе. Был бы Сявон, он бы решил, что делать. Как бы он решил, так бы и было. Никто не сомневался в Сявоновой храбрости, а вот в собственной храбрости Сергей и Хомик никогда не были уверены.

— Слушай, — сказал Сергей, — твой же отчим живет в Заводском?

— Нет. Рядом, на улице Красных Зорь.

— Все равно. Если поймут, скажем — к отцу идем, бабка послала. Пусть проверяют!

— Не к отцу. К отчиму.

— Ладно, к отчиму.

Они договаривались о подробностях воображаемых ответов немцам, будто этими подробностями можно было защититься.

— Винтовку возьмем? — спросил Сергей.

— Куда ее! Лучше две гранаты. Винтовок сейчас и так много валяется.

Они выбрались на улицу Маркса через крайнее парадное. Осторожно прикрыли за собой дверь, но все равно щелчок замка им показался громовым. Они еще могли вернуться, вставить ключ в тонкую гнутую щель английского замка — и вот она, защищенная от улицы прочными стенами, спасительная полутемнота парадного. Но это было невозможно.

Теперь надо оторваться от двери, сделать шаг из-под маленькой ниши на тротуар. Впрочем, никакого тротуара сейчас нет. Нет и проезжей части улицы. Есть одно широкое, насквозь просматриваемое пространство.

Улица ярко освещена солнцем. Стены и сохранившиеся стекла в окнах недавно горевшего шестиэтажного дома напротив светятся празднично и чисто. Резко чернеет тень от большой, еще не полностью сбросившей листья акации. И тень эта только подчеркивает, помогает глазу ощутить, как много сейчас света на улице, как опасно и нелепо его нерасчетливое, неуместное обилие. На улице совершенно нет движения. Каменно, неподвижно стоят по обе стороны улицы дома, неподвижен столб с электрическими разбитыми часами. Лишь ветки акации слабо раскачивают свою тень.

На такой улице самые тихие шаги слышны за два квартала.

Почти сразу же Сергей и Хомик наткнулись на убитых. Их было двое на пролетке, оглобли которой, пригнутые мертвой лошастью, уперлись в тротуар. Один убитый свободным взмахом закинул руки за голову и прямо с пролетки тянулся к асфальту. Рубашка его вырвалась из-под брючного ремня и обнажила полоску желтой кожи на животе, пиджак обвис и накрывал сзади голову. Второй сидел, опершись грудью и подбородком на чемодан, который стоял у него на коленях.

Через полквартала ребята увидели полуторку, в кузове которой на узлах и мешках лежало еще несколько застреленных — почти одни женщины. Смотровое стекло кабины, за которым неподвижно сидели мертвый шофер и мертвый мужчина в кителе, было забелено десятками трещин в слюдяной прокладке — его прошла густая пулеметная очередь.

И те двое, на пролетке, и эти, на машине, были гражданскими. Убили их, должно быть, сегодня ночью, когда они пытались вырваться из города.

Ребята остановились, потрясенные. Гражданских до сих пор убивало только во время бомбежки. Эта же смерть была всеядна. И пришла она оттуда, куда двигались сами ребята.

— Может, вернемся? — предложил Хомик. — Немцы, наверно, уже где-то здесь. Что мы сделаем?

Но первая острая минута страха уже прошла.

— Слышишь? Стреляют на Заводском, — сказал Сергей.

Они двинулись дальше. И каждый новый шаг давался им все с большим трудом.

Теперь ребята твердо знали, что такое немцы, и не сомневались, что немцы, если им попадешься, обязательно убьют. Но именно поэтому в них росла ненависть, заставлявшая их идти вперед.

А через квартал мальчишки увидели пулемет, из которого были застрелены беженцы, и тех, кто их застрелил. Пулемет, похожий на черную длинную дубинку, с узким, как у старинного мушкета, прикладом, с железным кожухом охлаждения, валялся посреди дороги, запутавшись в собственной патронной ленте. В небрежной позе спящего рядом с пулеметом лежал человек в серо-зеленом мундире. Ногу в коротком сапожке он отбросил в сторону, руки его тянулись к пулемету. Он долго стрелял и так, уткнувшись носом в асфальт, полувытянув руки, полуохватив ими голову, словно заснул. Второй немец тоже лежал на животе. Но поза этого была напряженной. Он первый заметил опасность, собрался вскочить, да так и не вскочил.

— Убили гадов, — сказал Сергей. — Наверно, пробрались сюда ночью, а их тут и задавили.

Хомик молчал. Ощущение опасности вовсе не рассеялось оттого, что мальчишки увидели убитых немцев. Наоборот, кольцо ее еще больше сжалось. Но возвращаться теперь было, пожалуй, еще страшнее, чем идти вперед. Мальчишки бежали, прижимаясь к стенам домов, рывками пересекая поперечные улицы. Они бежали мимо сквера и слышали, как под ветром шумят деревья. И это был шум, как в лесу, потому что никакие городские звуки его не заглушали. Они бежали на фронт — возможность сбежать на фронт обсуждалась давно, а фронт проходил по их собственному городу.

До Заводского поселка мальчишки не дошли. Сергей ошибся — стреляли значительно ближе. В Заводском поселке, построенном после революции, не было баррикад, не было укреплений. Дома там стояли свободно, на большом расстоянии друг от друга. Их трудно было защищать, их легко можно было обойти. Баррикады начинались в старом городе, и здесь-то и держалось несколько заслонов.

Мальчишки не успели ни испугаться, ни обрадоваться, когда им навстречу, вывернувшись из-за угла, выбежали шесть красноармейцев, двое из которых тянули за собой подпрыгивающий на непоспевающих колесиках «максим».

Эти солдаты не были похожи на тех, которые недавно, серые в пыли, понурые, брели по улицам, согнувшись под тяжестью нестреляющего оружия. Эти солдаты выглядели более рослыми, злыми и даже веселыми. И несмотря на то, что они бежали, Сергей и Хомик сразу поняли, что они не убегали, а перебежали. И правда, стремительно добежав до баррикады, солдаты остановились. Четверо тотчас зашли за нее, а пулеметчики не стали затаскивать свой «максим» за баррикаду, они улеглись на проезжей части улицы. Потом один вскочил и тоже зашел за баррикаду. Солдаты шумно, во весь голос, переговаривались. Их совсем не завораживала тишина, которой были насквозь пропитаны Хомик и Сергей. И еще была одна особенность в том, как они ходили, острили, разговаривали, — они жили в мире, где все надо делать быстрее, чем в обычном. Быстрее бежать, быстрее ложиться, быстрее перекидываться словами, быстрее дышать. Даже когда они лежали, они продолжали жить в этом стремительном темпе. Поэтому до них не доходила тишина, которая завораживала ребят, поэтому они и не замечали самих ребят.

Сергей и Хомик робко стояли в стороне, ожидая, когда их наконец заметят. Сергей присматривался к лицам: у кого из солдат легче будет добиться покровительства?

Командовал группой широкогрудый парень с некомандирски молодым, добрым, пухлогубым лицом. Он всех называл по фамилиям, а солдаты говорили ему «Валя» или «Валентин». Валя осмотрел амбразуры в правом и левом отделениях баррикады, развел людей по местам и теперь, нисколько не обращая внимания на то, что на своем месте остался только один пулеметчик, лежавший на дороге, а остальные, не отходя, впрочем, далеко, разбрелись по улице, занимался, к удивлению Сергея, гимнастикой: вышагивал вдоль баррикады, пружиня на носочках, сводил руки перед грудью и резко разводил их в стороны. Делал он это неторопливо, но у него в лице, как и у других солдат, закуривавших, грызших сухари, все равно было что-то стремительное, не связанное с тем, чем он сейчас занимался.

Еще один солдат привлек внимание Сергея. Этот, едва зашел за баррикаду, сразу же направился к витрине маленького продуктового магазинчика. Стекла в витрине не было. Его осколки лежали тут же, на тротуаре, и в самой витрине, на мешках с песком. Солдат забрался на мешки и вышиб ногой диктовую перегородку, которая была вставлена в витрину вместо второго, внутреннего стекла. Из магазина он вернулся довольно скоро, отплевываясь и отряхивая пыль с рукавов.

— Все растащили, — сказал он. — Масла нет, какао нет, водки тоже. Все мыши с голоду подохнут. Поджечь, что ли? Валя, дай спички. Слышь, начальник, спички дай.

Этот парень — единственный, кого не захватывал стремительный ритм. Он нюхал свой испачканный рукав, отряхивался и отплевывался — должно быть, пробовал что-то в магазине на зуб — с тем же спокойным отвращением, как если бы не было никакой войны.

— Зачем тебе спички, Сиротин?

— Поджечь эту заразу. Там стружки до черта. Хорошо загорится.

— Брось баловать, Сиротин, жилой ведь дом, — сказал пожилой солдат в пилотке, надетой без всякого щегольства и даже без положенной по уставу некоторой лихости. — Вон и ребятишки отсюда.

— Мы не отсюда, — вмешался Сергей, но на него не обратили внимания.

— Молчи, дядя, — лениво отозвался Сиротин, — не с тобой говорю. Дашь спички, начальник?

Валя дошел до тротуара, повернулся:

— Честно, Сиротин, — ты мне надоел.

— Ты не знаешь, начальник, какие здесь сволочи живут.

— В этом доме?

— В этом городе. Меня тут арестовывали, понял? Насмотрелся я на местных фраеров. Ты же не отсюда?

— Не отсюда.

— А я здесь был.

— Переходил бы ты, Сиротин, сразу к немцам.

— Зачем?

— Они уж если ненавидят, то не то что город, а всю страну сразу.

Сиротин заулыбался. У этого парня было сильнейшее чувство собственного превосходства. Оно делало его неуязвимым.

— Незачем пока.

Валентин укоризненно покачал головой и вдруг направился к ребятам:

— Вы еще здесь?

— Мы к отцу... к его отчиму шли, — затынул Сергей. — Нас его бабушка послала. Она больна. — Сергей говорил так, как будто он боялся Валентина. Но он уже не боялся его. Он бы уже свободно мог назвать этого пухлогубого силача, привычно заботившегося о своих мышцах, «Валя».

— Так чего ж вы здесь околачиваетесь?

— На той улице, где отчим живет, уже немцы.

— Так валяйте домой! И побыстрее!

— Товарищ командир...

Сергей не успел договорить. Пулеметчик, лежавший впереди баррикады, начал стрелять. Ни самого пулемета, ни его цели отсюда, из-за баррикады, не было видно. Солдаты бросились к амбразурам, а Валентин и Сиротин выскочили за баррикаду. Сергей помедлил минуту и тоже выглянул за ними. Пулемет уже не стрелял. Там, куда направлен был его ствол, стояла тишина. Улица как улица.

Сколько раз за эти дни Сергей слышал и винтовочную, и пулеметную, и артиллерийскую стрельбу! Но это было не то. С той самой минуты, как они встретились с красноармейцами, Сергей ожидал, что они начнут стрелять, и все время, пока Сиротин лазил в магазин, а Валя делал гимнастику, прислушивался: вот-вот *она* произойдет. И надеялся, что *она* еще подождет, еще даст ему собраться с силами. И вот эта пальба и пустынная улица. Пулеметная очередь, ударившая над ухом, заставила все в Сергее зашуметь. Мысли и чувства его бросились в разные стороны. А пустынная улица с тускло блестящими под солнцем серыми лбами булыжника, с ржавыми трамвайными рельсами — давно ли трамвай ходил! — все опять приводила в норму. Ведь, в сущности, Сергей ожидал, что стрелять начнут по ним. А стрелять начали наши. И эти выстрелы и пустынная улица впереди дали ему возможность окончательно решить, что они с Хомиком все-таки шли на фронт, а не к Хомикиному отчиму.

Пулемет вкатили поглубже в узкий проход на баррикаде, солдаты припали к амбразурам. На ребят опять никто не обращал внимания. Лишь Сиротин, которого Сергей боялся, спросил:

— Войну, кислוגлазые, хотите посмотреть? Сейчас увидите.

Сиротин, по-видимому, и сейчас не испытывал никакого страха. Он не был захвачен ожиданием, как остальные солдаты. Даже находил время дразнить ребят.

— На фронт шли, а оружия не захватили? Думаете, вам тут приготовят? На улице мало винтовок валяется?

— У нас гранаты есть, — сказал Сергей.

— Гранаты? А ну, давай сюда!

Сергей попытался отступить, но цепкая рука уже схватила его, уверенно нащупала в кармане гранату. Так же быстро Сиротин очистил карман Хомика.

— У меня отец воюет, понял? И брат двоюродный, — зло сказал Сергей. — Он чемпион по боксу. А ты хвастаешься!

— Тихо, — сказал Сиротин, — а то немцы услышат. Гранаты вам ни к чему. Нас тут подорвете. Найди пушку и стреляй.

Этот Сиротин совсем не жалел Сергея и Хомика. Его вовсе не удивляло и не беспокоило, что они, пацаны, добровольно подвергают себя смертельной опасности. Словно этот Сиротин был уверен, что на их месте поступил бы куда смелее и предусмотрительнее. Во всяком случае, не пришел бы на фронт без винтовки.

— Слышь, начальник, — сказал вдруг Сиротин, сразу же забыв о Сергее и Хомике, — я схожу туда, посмотрю.

И, не ожидая разрешения, вышел из-за баррикады.

— Назад, Сиротин! — приглушенно крикнул Валя. Но Сиротин даже не оглянулся. Он двигался быстро.

И хотя ступал нормально, на всю ступню, казалось, что идет на цыпочках и чуть боком. Он шел по той части улицы, которая в сознании Сергея отделилась от города, где и дышать-то нормальными легкими нельзя. Сейчас даже было странным, что они с Хомиком тоже были там, где от дерева к дереву перебегают Сиротин, что и Валя с солдатами двадцать минут назад бежал оттуда. Очередь, которую дал пулеметчик от баррикады, окончательно сделала эту часть улицы чужой.

— Убьют дурака, — сказал Валя.

Пожилой дядька, которого недавно оборвал Сиротин, сказал успокаивающе:

— Другого, мабуть, убило б. А он заговоренный. Ничего с ним не будет.

— Леша, — сказал Валя пулеметчику, впервые называя своего подчиненного по имени, — смотри внимательно. Где они, по-твоему?

Леша, не оборачиваясь, сделал движение подбородком:

— Если не дураки, в том окошке примащиваются.

Леша показал на трехэтажный дом с двумя массивными, господствовавшими над улицей «фонарями».

— Не опоздаешь?

— Кто его знает! Постараюсь. Я вообще не против, чтоб ему шишку поставили. Беспокойный человек.

Сиротин теперь надолго исчезал — его скрывал ряд деревьев вдоль кромки тротуара. Но вот он показался почти на самом углу. Стоял, прижавшись к толстому дереву, и раскачивал в правой руке гранату.

— Сейчас начнется, — сказал Валя тихо.

Сиротин махнул рукой, махнул еще раз и побежал к баррикаде, то появляясь из-за деревьев, то пропадая за ними. За его спиной два раза рвануло. Все это Сергей видел сквозь амбразуру, которую должен был занять Сиротин. Потом поднялась пулеметная и автоматная стрельба. Стреляющих Сергей не видел, но было ясно, что на этот раз стреляют по Сиротину и по баррикаде. Сейчас же заработал наш пулемет. Пули выкрошили кирпич рядом с окнами «фонаря», потом Леша перенес огонь в какую-то другую сторону, но куда — Сергей не мог понять. Он вообще ничего сейчас не мог понять, — сквозь амбразуру начал проникать какой-то острый, выжимающий слезы воздух, и Сергею стоило большого труда не отойти в сторону, не спрятаться. Как тогда, в танке, когда Сявон испытывал мину, а Сергей глядел в смотровую щель.

Наконец Сиротин, целый и невредимый, в своих легких брезентовых сапожках — Сергей только сейчас заметил, что они у него не кирзовые, как у всех, а брезентовые, — выбежал от дерева к баррикаде. И тут Сергея будто дважды хлестнуло — Сиротин бежал, а Сергей ожидал, что он вот-вот упадет. Сергею казалось, что он слышал, как пули попали в Сиротина. Но Сиротин сделал еще несколько шагов, и Сергей поверил, что ошибся. И тут Сиротин упал. Он был убит. Сергей никогда еще не видел, как падают убитые, но тут было ясно — Сиротин убит. Так он падал, так ударилась о булыжник его голова, так отлетел в сторону карабин, в такой неживой, невозможной для живого, позе он остался лежать.

На земле Сиротина догнала взвизгнувшая на булыжнике очередь, и сразу с обеих сторон стрельба оборвалась. Обе стороны присматривались, зашевелится Сиротин или не зашевелится.

— Сглазил человека, — сокрушенно сказал пожилой боец. — От было бы мне молчать! Может, я попробую его забрать, товарищ командир? Может, жив еще?

— Нет, — сказал Валя сурово.

И тут на Сергея накатила волна — что-то среднее между вдохновением, ослепляющим азартом и ужасом перед собственной безрассудностью. Он знал, что может погасить эту волну, переждать ее, но тогда его долго будет мучить презрение к себе. А может, подчиниться ей? Тогда — если подчинится вовремя — он обязательно совершит невозможное, обязательно выиграет: так с ним бывало не раз. И Сергей не стал сопротивляться. Почти ослепнув, почти ничего не видя вокруг себя, он выскочил из-за баррикады, в несколько отчаянных прыжков добрался до Сиротина, увидел его

стеклянно неподвижный глаз, схватил карабин и, чувствуя, что волна сходит, что его оставляет легкость азарта, тяжело побежал назад.

Но немцы почему-то опоздали. Очередь прогремела впустую, когда Сергей уже скрылся за баррикадой.

— Я бегу, понял? — задыхаясь, объяснял Сергей Хомику. — Считаю шаги. Вот-вот, сейчас... — И в порыве великого благородства сказал: — Мы будем из него стрелять по очереди, — И уже смело спросил: — Товарищ командир, а когда они нас атакуют будут?

Валя посмотрел на него хмуро и с сомнением, а пожилой сказал:

— Зачем им атаковать? Они чувят, что мы и так уйдем. А мабуть, танков ждут. Или артиллерию. Зачем им так на этот кирпич лезть? Мы их из-за этого кирпича многих побьем, даром что мало нас.

Он подумал и добавил:

— Немец так, за здорово живешь, шкурой не рискует. Немец — он лучше танков подождет...

И дядька крикнул — сказал гораздо меньше того, что собирался сказать.

Немцы пошли в атаку без танков...

Лишь после третьего или четвертого выстрела Сергей стал искать огромной, заслонявшей пол-улицы мушкой цель. Вначале он просто палил в ту сторону, где город был уже не наш. Запомнился же Сергею самый первый выстрел. Запомнился выпуклый приклад под щекой, толчок в плечо, грозный звук (Сергей пожалел, что он недостаточно громок) и чувство спешки, стремительности, силы, которое сразу же объединило Сергея с защитниками баррикады.

Сколько все это продолжалось, Сергей не знал. Стрельба прекращалась, начиналась опять. Сергей старался вовремя увидеть — он каждый раз запаздывал, — когда за деревьями мелькнет зеленое пятно мундира. Потом он с Хомиком сидел на земле, курил кем-то протянутую самокрутку.

Валя взглянул на часы:

— Все. Можем уходить.

Они пробежали несколько кварталов и остановились почти в самом центре, за большой, уступом выходящей на главную улицу баррикадой. Здесь они просидели с полчаса, ожидая, что немцы подойдут. Но немцы не подходили. И Валя опять занимался своей гимнастикой, а пожилой дядька рассказывал Сергею и Хомяку о Сиротине:

— Он такой был. Бесстрашный. — «Бесстрашный» у дядьки звучало как «невоспитанный», а не как «храбрый». — Ни немцев, ни начальства, ни нас не боялся. Обидеть мог. Это ему ничего не стоило. Как папиросу закурить. Вот такая уродилась людына. А может, жизнь испортила. Жизни я его не знаю. Только счастья ему не было.

А Хомик и Сергей хвастались своим городом: «Это он сейчас такой, а вы бы посмотрели до войны...»

Где-то вдалеке мелко задрожал асфальт, дрожь перешла в металлическое дребезжание. Валя выбежал из-за баррикады и крикнул:

— Спокойно! Наши танкисты.

Огромный КВ, качнувшись, остановился рядом с Валей. Потный танкист в сбитом на затылок шлеме по поясу высунулся из башни и крикнул Вале что-то не слышное в выхлопах мотора. Валя кивнул, и КВ, взревев, рванулся дальше по улице.

— Уходим, — сказал Валя, вернувшись, — переправляться через реку будем своими средствами. Обе переправы уже взорваны. Теперь выручайте, пацаны. Вы же местные!

Теперь бежать было легко — улица все круче и круче спускалась к набережной. Но к Сергею возвращался утренний сковывающий страх. Ему казалось, что немцы бегут с ними наперегонки по параллельным улицам. Кто скорей!

Пугала и пустынность порта. Из-за угольных куч, из брошенных товарных вагонов — отовсюду можно было ожидать пулеметной очереди, винтовочного выстрела. Сергей старался ступать тихо, но все равно под его ногами оглушительно скрипел гравий, хрустел раздавливаемый шлак. Но больше всего боялся Сергей того, что там, куда они ведут солдат, не окажется лодки и время, которое солдаты так безоглядно тратят, доверившись Хомику и Сергею, окажется потраченным напрасно и

потому гибельным для всех. Страх этот становился тем сильнее, чем ближе они подходили к заветному мосту.

Лодка — небольшой рыбацкий каюк с моторчиком — принадлежала Сагесе. Сергей плавал на ней еще задолго до того, как родители разрешили ему выходить гулять за два квартала от двора. Лодка была гордостью ребят, источником великих наслаждений. Ей давались самые ласковые и самые высокопарные названия. Она была и шхуной, и бригантиной, и корветом, и крейсером. Летом мазутный, смолянистый запах, исходивший от ее зашпаклеванных бортов, казался Сергею запахом самой реки.

Хранил лодку Сагеса в небольшом сарайчике, на захлавленной замусоренной «нейтральной» территории между большой прокатной лодочной станцией и верфью. К этому сарайчику и вели солдат ребята.

Еще издали Сергей увидел, что у мостков прокатной станции нет ни одной лодки. Сами мостки тоже разобраны. Вода облизывала столбы-опоры, вколоченные в речное дно. Тягостным предчувствием сжималось сердце Сергея, пока они с Хомиком, опередив остальных, бежали к сараю. Прикладом карабина сбили аккуратно прикрытый клеенкой замок. Лодка была на месте!

К воде, чтобы не повредить дно, ее несли на руках. Пожилой боец, стоя по пояс в воде, держал лодку на плаву, пока в нее не погрузились все солдаты. Сергей и Хомик тоже хотели влезть, но Валя их остановил.

— Некуда, ребята, — сказал он, — пять человек и пулемет, а лодка ваша рассохлась. Течет. Спасибо, ребята. Большое спасибо, ребята. Будьте здоровы. Валийте побыстрее домой.

Он, уже было влезший в лодку, выпрыгнул в воду, вышел на берег, молча пожал руки Сергею и Хомику. Потом пулеметчик и пожилой дядька налегли на весла — моторчик и не пробовали заводить, — а Валя крикнул:

— Карабин спрячьте. Выбросьте карабин!

Когда лодка прошла последний столб, оставшийся от разобранных мостков, Валя встал во весь рост, сложил руки рупором:

— Как вас зовут?

— Как зовут, спрашивает, — разобрал Хомик.

— Михаил!

— Сергей!

— Фамилия, фамилия? — кричал Валя.

Но было уже очень далеко, и ребята лишь помахали ему руками. Они еще постояли на берегу, потом спрятали карабин в сарайчике и опять вышли на берег. Лодка подходила к левобережной роще.

— Пошли, — сказал Хомик.

Сергей понюхал свои руки. Ему неизвестно каким путем вспомнилась книжка о Парижской коммуне, где версальцы расстреливают рабочих, у которых руки пахнут порохом. Руки как будто ничем не пахли.

Поднимались в город крутой пустынной улицей. Ни наших, ни немцев. Когда же до дома осталось два квартала, ребята, вывернувшись из-за угла, увидели большую пушку с квадратным щитом, установленную посреди дороги. Дуло ее смотрело в сторону реки.

Еще когда Сергей только учился кататься на велосипеде, он никак не мог проехать мимо телеграфного столба. За двадцать метров его начинало тянуть на столб. И чем ближе и неотвратимее становилось столкновение, тем сильнее Сергей крутил педали. По ночам ему снились кошмары. Он мчится на велосипеде, и откуда ни возмись телеграфный столб или встречная машина. Он хочет свернуть, но ничего не может поделать со своими руками, и вот уже столкновение неотвратимо. Такое же ощущение неотвратимости, бессмысленности несчастья владело им и сейчас. Сворачивать было поздно. Надо было двигаться вперед.

— Мы будто с тобой по делу, — сказал Хомик. Сергей кивнул.

Немцы сидели на стульях, вынесенных, должно быть, из соседнего дома, и обедали. На ребят они не обратили внимания.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В подвале спорили, открывать или не открывать ворота двора. Не открывать — злить немцев, открыть — самим же пригласить их к себе. Спорили шепотом, раздражались, доказывали, но сразу же замолкали, едва наверху, над подвальными окнами, раздавался грохот мотоциклетного мотора, и потом долго не могли разобраться, кто перед этим за что стоял.

Сергей и Хомик, собиравшиеся до конца дня высидеть в подвале, — они опасались, что их утренний поход был замечен, — не выдержали и получаса. Они выбрались во двор и уселись на длиннейшей дворовой скамейке, которая огромным неправильным кольцом охватывала большую клумбу. На клумбе с граблями и лопатой возился Мекс. Он выбирал из земли осколки стекол, мусор, выбрасывал куски кирпича.

— Сколько жителей в городе? — говорил вполголоса, чтобы Мекс не слышал (кто его знает, зачем он к приходу немцев так старается?), Сергей.

— Полмиллиона.

— Это с детьми и стариками. Пусть двести тысяч. Каждый взял бы в руки по гранате...

Опять с Маркса на Синявинский сворачивал мотоцикл. Грохот его мотора был как вой приближающейся бомбы. Еще только отделилась от самолета — уже кажется, что нацелена в тебя.

Где-то около ворот — ворота ребятам не видны, мальчишки сидят сбоку от подворотни — мотор заработал громче, пару раз фыркнул и затих. Надеяться на что-то уже было бессмысленно, и все-таки несколько секунд Сергей надеялся: «А может, еще не к нам, а может, пронесет...»

Калитку рванули, ударили в нее сапогом, и в подворотне гулко забилась настойчивый железный звук. «Сейчас оно и произойдет», — думал Сергей, глядя, как, грузно колыхаясь, перебирая в связке ключи, шел навстречу грохоту Мекс. В большой, четырехэтажный дом один, двое или даже десять человек по пустякам так стучать не могли. Так стучать могла только немецкая армия...

Однако это была еще не армия. Опередив Мекса, во двор вошли двое мотоциклистов в пыльных зеленых плащах. Они зашли в ближайший подъезд, толкнули квартирную дверь на первом этаже и потребовали, чтобы им открыли. Пока Мекс, неотступно сопровождавший мотоциклистов, спускался в подвал, разыскивал хозяев, немцы поднялись выше, выломали дверь в квартире на втором этаже, перерыли шкаф, что-то завернули в объемистый узел и, отстранив угрюмого Мекса и растерянную хозяйку с первого этажа, которые ожидали их, направились к своему мотоциклу.

Мекс двинулся за ними следом и запер калитку. Потом он взял с клумбы лопату и грабли, очистил их от земли, спрятал в специальную фанерную халабуду, где хранились все его дворницкие инструменты — метлы, лопаты, ломы, совок, шланг для полива двора, — и пристроился на низенькой табуретке перед своим флигелем. На этой табуретке Мекс всегда сапожничал. Сейчас он зажал между коленями высокий валенок и, орудуя шилом и толстой иглой, стал пришивать к нему войлочную подошву. Иногда Мекс откладывал в сторону шило, прижимал валенок к пухлой груди и, как сапожники, к себе резал войлок треугольно заточенным ножом. Чувствовалось: Мекс что-то решил. Решил сам, не спрашивая ни тех, кто требовал открыть ворота, ни тех, кто им возражал. И когда с улицы Маркса на Синявинский заворачивал мотоциклетный грохот, ребята понимали: сейчас он больше всего нацелен в толстую, когда-то ненавистную им, согнутую шею Максима Федоровича.

Мекс не отложил свой валенок, когда новый мотоциклетный треск оборвался у ворот и в подворотне забилось железное эхо ударов в калитку. Движения Мекса даже сделались медлительнее. Он тщательно нажимал на шило, аккуратно продергивал нитку. Мекс будто нарочно озлоблял немцев. Ребята со страхом следили за тем, как Мекс поднимался, как он отряхивал с колен обрезки войлока, а потом плохо гнущейся ногой сгребал их в кучу, как шел в подворотню — старый, тяжелый, в старых, подшитых на коленях кожей ватных брюках, которые он снимал только в страшную жару, в ватной телогрейке, в темном брезентовом фартуке-нагруднике, который делал

его похожим и на сапожного мастера и на домашнюю хозяйку одновременно. Вот Мекс вошел в подворотню и, хотя его еще отделяли от немцев железные прутья ворот, полностью попал в их власть.

Никогда еще эта подворотня не слышала немецкой речи, и сейчас эхо без запинки откликалось на свирепую немецкую ругань. Подворотня просто гудела от картавых яростных «эр». В этих «эр» была сокрушающая уверенность немецкой армии, презрение немцев к медлительному, похожему на домашнюю хозяйку, старику в брезентовом фартуке. Сейчас разозленные немцы ворвутся во двор и бог знает что наделают.

Однако немцы почему-то медлили. А из подворотни неожиданно показался ковыляющий все той же медлительной походкой Мекс. Ему надо было сделать шаг в сторону, тогда бы его от немцев укрыла стена. Но Мекс продолжал идти прямо, будто не заботясь о том, что его широкая, пухлая спина — прекрасная мишень для пули.

Немцы еще покричали, потом мотор мотоцикла озлобленно фыркнул, затарахтел, набирая обороты, и рванулся по Синявинскому вниз. Совсем уехали или отправились за помощью?

Сергей никогда не думал, что Мекс храбрый человек. Мекс был Мекс. И назвать его храбрым могло прийти в голову только отчаянному шутнику. Но даже отчаянному шутнику Сявону это никогда не приходило в голову. Конечно, к Мексу и раньше обращались, если кому-то из жильцов казалось, что на чердак забрались воры или какие-то подозрительные молодые люди слишком внимательно рассматривали чью-то парадную дверь. И Мекс поднимался на чердак и без колебаний выходил к подозрительным молодым людям. Во время бомбежек Мекс часто поднимался на крышу, следил за парадными дверями. Но и это казалось само собой разумеющимся. То же, что Мекс сделал сейчас, не было само собой разумеющимся. Сергей сегодня посмотрелся на всеядность той самой смерти, картавое «эр» которой недавно бушевало в подворотне. Он посмотрелся за эти дни на смерть, на ее цвет — цвет человеческой кожи, от которой отхлынула жизнь. Такого цвета были лица тех, на конной пролетке, и женщин на полуторке. Сергей видел, как мгновенно — нет, не посерело, а именно утратило жизненный цвет лицо Сиротина. Сергей видел, как заострилось и посерело лицо пожилого бойца, подумавшего, что это он сглазил Сиротина. Как будто пожилой солдат на время принял и почувствовал чужую смерть.

Вот такого цвета было и лицо Мекса, когда он, не торопясь, возвращался из подворотни. Мекс знал, куда ходил!

И еще раза три Максим Федорович выходил к случайным немецким солдатам. Дважды он спрашивал их довольно легко. Один раз его чуть не застрелили, наставляли автомат, щелкали затвором. Но Мекс оставался глух.

— Документ, — угрюмо твердил он, равнодушно глядя на автомат. — Документ.

До ночи Мексу удалось отстоять дом, уберечь все сорок его квартир от грабежа. Ночью, когда ребята, сморенные пережитым, заснули в подвале, Мекса застрелили.

Тело Максима Федоровича до рассвета пролежало в подворотне. Его обезумевшая жена, невестка и внучка не могли поднять более чем стокилограммовую тяжесть, а женщины, сидевшие в подвале, долго не решались подойти к убитому. Уже под утро Максима Федоровича перенесли во флигель и уложили на стол. Здесь ребята и видели его в последний раз.

В ту ночь в доме умерли еще два человека. Умерла сестра Сявона, четырехлетняя Сонька. Умер одинокий, потерявший еще в гражданскую войну жену и сына семидесятилетний отставной капитан дальнего плавания Гладыш. Всю жизнь он плывал по северным морям, а под старость поселился в южном городе, чтобы вылечить свой застарелый северный радикулит.

Ни Соньку, ни Гладыша, ни Максима Федоровича, естественно, никогда не заносили в списки военных потерь.

2

Всю ночь и весь день двигалась через город немецкая армия.

Утром Сергей, Хомик и Сагеса ходили прощаться к Максиму Федоровичу. Они хотели только на минуту заглянуть во флигель, а просидели там около часа. Едва они вошли в комнату, которую помнили просторной и в которой сейчас было удивительно

тесно от покойника (мертвый Максим Федорович занял так много места, как он никогда не занимал живым), им, как взрослым, предложили стулья. Потрясенные и напуганные, скованные предложенными им стульями, необходимостью говорить шепотом и смотреть на стол, где, уже обмытый и прибранный, лежал Максим Федорович, ребята не решались встать и уйти. Несколько раз Сергей порывался: он боялся расплакаться — так на него действовали причитания Анны Егоровны, жены Максима Федоровича. Она одна в этой комнате кричала во весь голос. Она не говорила чего-нибудь особенного, не называла Максима Федоровича кормильцем, не вспоминала, каким хорошим он был. Самое страшное было в том, что о толстом, старом, неподвижном человеке она говорила, как о ребенке. Поправляла сложенные на груди руки и вдруг припадала к ним щекой:

— Рученьки мои!

Оглаживала ладонями лоб, голову убитого и кричала:

— Ой, какие ж вы тоненькие, волосики!

Она кричала:

— Какой же ты желтый стал! всю кровушку из тебя выпустили!

Она кричала, а в Сергее все леденело и заходило ненавистью.

Потом они вышли на улицу Маркса. По улице борт к борту, в два, а то и в три ряда, двигалась немецкая техника. Шли огромные грузовики, с коротким, тупым радиатором и грузовики со спрятанным в кабину радиатором. Ползли порывающиеся бронетранспортеры с большими передними колесами и множеством задних, перематывающих мягкую гусеницу. Обгоняя колонну, выезжали на тротуар маленькие — их не назовешь легковыми — машины, похожие на железные ящики на колесах. И у всего этого потока техники, у каждого грузовика, даже у каждой части грузовика был устрашающе воинственный вид, который сразу же заметили и оценили мальчишки.

У нашей армии, которая недавно тоже проходила через город, было куда меньше машин. Но дело даже не в количестве. Наши солдаты сидели в кузовах тех же самых трехтонок и полуторок, которые возили колхозный хлеб на элеваторы, гудели с грузом угля, досок, кирпича на городских улицах. Грузовики в армии, конечно, переокрасили. Но никакие маскировочные полосы на бортах, никакая краска не могла скрыть, что солдаты сидят в кузовах известных всем хлебовозов.

Немецкие же автомобили невозможно было себе представить со строительным грузом в кузове. Эти огромные, широко и прочно расставленные колеса с толстыми рубчатými шинами, эта помесь трактора, колесного тягача и танка в контурах кабины, эти кузова-крепости, кузова-вагоны — все предназначалось не для работы, а для войны. Даже форма бензинового бака у немецких мотоциклов — готовый к тарану нос старинного броненосца — говорил о воинственности. Человек, оседлавший такой бензиновый бак, мчался убивать и разрушать...

И ребята, прижавшиеся к стене дома (вот-вот кто-то из немцев укажет пальцем — и конец!), тоскливо следившие за потоком, очень точно чувствовали эту идею немецких конструкторов.

Иногда колонна останавливалась. Солдаты выпрыгивали из кузовов грузовиков и бронетранспортеров, разминались, бежали с ведрами в соседние дворы, закуривали, смеялись. И было странно и страшно оттого, что они смеялись. Чему они могли смеяться?

Иногда мальчишки уходили во двор, сидели на скамейке или заглядывали во флигель Максима Федоровича и сообщали, что немцы все идут (гроб с телом Максима Федоровича надо было по дороге на кладбище перенести через улицу Маркса). Потом настойчивый шорох автомобильных шин, скрип тормозов, полязгивание гусениц, негромкий гул голосов чужой, дисциплинированной толпы вытягивал ребят на улицу. И опять они стояли, прижавшись к стене дома, опять испуганно, с досадой и разочарованием смотрели и сравнивали.

То, что мальчишки видели, было убедительно.

Внушительными выглядели могучие рубцы-протекторы на огромных шинах вездеходов. Внушительными были и кузова автомобилей, в которых свободно разместились бы не только наши полуторки, но и наши ЗИСы. Внушительным было вооружение немецких солдат — обилие пулеметов, укрепленных на мотоциклетных колясках, над кабинами грузовиков.

Внушительным было даже обилие застёжек и пуговиц на широких маскировочных плащах немецких мотоциклистов. Можно плащ пристегнуть к ногам, откинуть или накинуть капюшон, свернуть плащ, развернуть его...

Мелочи поражали ребят как-то особенно горько. Ну, техника техникой, мы еще просто не успели столько настроить; к тому же тут не только немецкие машины — «фиаты», «шкоды», «форды»... вся Европа, Америка. А вот мелочи — затычки там или застёжки, откидные скамейки — это ведь можно бы.

И все-таки, несмотря на этот оглушающий подбор доказательств, ребята продолжали верить. Вся эта немецкая махина не могла погасить в них этой веры. Они лишь почувствовали, как хрупки, как ломки их личные судьбы.

3

На второй день после того, как на стенах домов появились коричневые листки с приказом немецкого коменданта в течение двух суток сдать все огнестрельное и холодное оружие, Сагесу, Хомика и Сергея позвал к себе Иван Лукич.

— Вот что, ребята, — сказал он, — женщины просили меня поговорить с вами. Вы читали приказ?

— Читали, — кивнул Сагеса.

— Женщины видели, что вы таскали и прятали где-то на чердаке — на чердаке? — какие-то ящики. Тол, мины, гранаты, — в общем, я не знаю что. Говорят также, что у вас видели винтовку.

— Мало ли что можно говорить...

— Правильно. Говорить можно что угодно. И лично я не советую вам тащить все ваше оружие на приемный пункт или еще куда там немцы приказывают. Это вовсе не обязательно. А вот взять этот тол, эти мины и оттащить их вечером в сквер и оставить там где-то на пространстве, равно удаленном от всех жилых домов, — пойдешь догадайся, откуда оно, не правда ли? — это я вам посоветовал бы сделать.

Ребята молчали.

— Вы, наверное, не все поняли, — сказал Иван Лукич, — Прочитайте-ка эту заметку, — протянул он Сагесе газетный лист. — Вот эту: «Сердечный привет германским воинам-освободителям!» Читай, читай!

— Что это за газета? — спросил Сагеса.

— Новая городская газета. «Голос русского патриота».

— Немецкая газета? — поразился Сергей. — Что же в ней можно писать?

— А вот сейчас увидишь.

— «Русские люди, истинно русские, — начал читать Сагеса, — в эти дни со скорбью и благодарностью думают о немецких солдатах, которые пролили свою кровь, освобождая наш многострадальный город от большевистского ига...»

— Так и написано? — не поверил Сергей.

Сагеса продолжал:

— «Большевики нас уверяли, что немецкая армия слаба, что ее дивизии обескровлены, что против Красной Армии воюют старики и дети. Мы все недавно видели, какие это старики! Красивые, сильные, молодые люди проходили перед глазами счастливых горожан...»

— Довольно, — устало попросил Иван Лукич. — Посмотри теперь на подпись.

— «Артистка Его Императорского Величества большого театра...»

— Знаете, кто это?

Сергей вспомнил жену «прокурора», которая хотела познакомиться в их доме с «порядочными» людьми...

— Вот и было бы хорошо, чтобы она видела, как вы выносите оружие. Она знает, что оно в доме.

— Так-то так, — сказал Сагеса, — да мы ни при чем.

Иван Лукич поправил свою повязку, посмотрел внимательно на Сагесу.

— Я вижу, вам надо побыть одним, посоветоваться. Посоветуйтесь. Только без мальчишества. Ладно? Ведь убить могут не одних вас. Учтите: артистка будет дрожать за свою шкуру и поспежит застраховаться.

Мальчишки спустились во двор, вышли на улицу. Они шли по тротуару, как ходят по мостовой навстречу сильному движению, шарахаясь в сторону при виде встречных

немцев. Задержат, загонят куда-нибудь выгребные ямы чистить, дрова рубить... Хомика и Сергея уже раз ловили. Сергей сбежал, а Хомика двенадцать часов возили по колесу в воде — немцы пытались отремонтировать водопровод.

Вернулся тогда домой Хомика каким-то серым, дрожащим. Он собирался бежать вслед за Сергеем, договорился с несколькими мальчишками, едва дежурный немец отвлечется, выскочить из бункера, в котором они работали. Мальчишки выскочили, а Хомика немного замешкался, и немец прямо на его глазах застрелил троих пацанов из автомата. Потом он кричал на работающих, грозил им автоматом, а Хомика все надеялся: сейчас что-то произойдет, придут другие немцы, арестуют этого или, по крайней мере, обругают его — ведь убил он не солдат, даже не взрослых, а обыкновенных мальчишек. Но никто не арестовал убийцу, никто не кричал на него. К нему подходили другие немцы, закуривали, стояли рядом, о чем-то разговаривали. А в десятке метров от них лежали убитые пацаны.

И вообще мальчишки уже привыкли к тому, что там, где немцы, там поблизости смерть.

Они видели, как на вокзале, где в самый первый день немцы застрелили несколько сот беженцев, немец-конвоир стрелял в толпу пленных. Он стрелял именно в толпу, в огромное серое тело, не выбирая ни правых, ни виноватых. И эта пальба в огромное беспомощное тело выглядела особенно ужасной. Мальчишки ходили на вокзальную площадь, лазили по путям, смотрели, как женщины со всего города шли от убитого к убитому, засматривали им в лица — искали своих.

И еще мальчишки видели...

Они ходили за город, на брошенные огороды, копать морковь и картошку. В полукилометре от них, отчетливо видный на холме, остановился серый автомобиль-фургон. Из кабины вышли трое немцев, они открыли задние дверцы фургона и что-то с усилием вытащили из него. Ребята не сразу поверили себе — это «что-то» был человек. Парализованные, они смотрели, как немцы, раскачав трупы за руки и за ноги, швыряли их в овраг...

На углу Осоавиахимовского и Маркса Сергея чем-то удивило большое объявление. На фанерном щите серый лист бумаги, в центре которого крупными типографскими буквами отпечатана такая известная и в то же время неуместная фамилия «Чайковский».

Как могла она очутиться на этом рекламном щите? Подошли поближе, и Сергей прочитал: «В помещении драматического театра состоится концерт симфонической музыки для офицеров и солдат немецкой армии. В программе — произведения Чайковского». Ну конечно, тот самый Чайковский! Композитор. Великий русский музыкант. Все правильно, русскими буквами отпечатана знаменитая русская фамилия, а прочитать ее и сразу понять — невозможно. Не может быть, чтобы тот самый Чайковский!

— Сагеса, — спросил Сергей, — есть только один композитор Чайковский или есть еще один, немецкий Чайковский?

— По-моему, один, — сказал Сагеса. — Откуда же другой?

— А вот прочитай, — указал Сергей на афишу.

Сагеса прочитал и тоже засомневался.

— А может, — сказал он. — Кто его знает...

Потом заговорили о той женщине — артистке его императорского величества...

— Казнить ее надо, — сказал Хомика.

— Кто будет казнить? Ты? — спросил Сагеса.

— Если надо — я!

Не то чтобы Хомика старался сознательно таким легким способом заработать себе славу отчаянного парня — он искренне загорелся своим предложением, кипел, настаивал. Но в то же время Хомика знал, что его предложение обязательно будет отвергнуто.

— Мы с Сергеем по немцам стрелять — не боялись!

— Тише! — сказал Сагеса. — Разошелся! Стрелять — стреляли, а убили хоть одного?

— Думаешь, я боюсь, да? Думаешь, если Хомика, так боится?

И Хомика решительными шагами подошел к стене, где был наклеен немецкий приказ, в котором комендант города предлагал населению в течение двух суток сдать

оружие, и рванул его. Отодралась узкая полоска бумаги. Хомик подцепил ногтями плотно приклеенный кусок и потянул.

— Немцы! — крикнул шепотом Сагеса.

Они бежали несколько кварталов, проходили сквозь старые дворы, в которых были выходы на две улицы.

— Вот ты дурак, — ругался Сагеса, — пацан! Приказ отодрал! Вот смелый! У них миллион таких бумажек! И что с тобой делается?

С Хомиком и правда что-то делалось. После того как они с Сергеем бегали на фронт, Хомик резко переменился. Выйдя на улицу, он хмелел. Его тянуло что-то сделать: сорвать приказ, плюнуть сзади немцу на мундир... За Хомиком надо было следить, его надо было удерживать, потому что хмелел он грубо, как новичок; у него совсем не было опыта в таких делах, каждую минуту можно было ожидать, что Хомик засыплется сам и потянет за собою других.

Сергей никак не мог забыть заметку в «Голосе русского патриота». И даже не заметку, а потрясение и злобу, которые вызвала у него печатная ложь. Сергей в первый раз в жизни почувствовал, как невыносима печатная ложь. Будто лгут от твоего имени. Будто, если ты не вмешешься, кто-то поверит, что и ты так думаешь.

Ночью мальчишки натаскали ведрами земли на чердак и засыпали плоские ящики с минами, гранаты и тол. Винтовку они зарыли во дворе.

4

Дней через пять после прихода немцев над городом пролетел советский самолет, бросил бомбу на вокзальную площадь и под дудуканье немецких автоматических зениток скрылся в восточном направлении. И это было все. Ни выстрелов, ни отдаленного гудения земли — фронт откатывался стремительно. Он опережал эвакуировавшихся, оставлял в тылу немецкой армии отступавших красноармейцев. Каждый день возвращался в сорокаквартирный дом по улице Маркса и Синявинскому кто-нибудь из уехавших перед приходом немцев. И каждое такое возвращение было траурным. «Вот и Сидоровы вернулись. Бог знает куда заехали, за тридевять земель, а и там их достали. И Жолткевич вернулась». — «Господи, но зачем же Жолткевич?! Неужели не знает?..»

Возвращавшиеся были худы какой то скорбной, изможденной, лошадиной худобой. Лица их шелушились непривычным степным загаром. В город они добирались пешком и на попутных подводах; приходили почти без вещей — по дороге выменивали их на хлеб. Небольшое возбуждение, оживлявшее в первые минуты, когда они входили во двор, их глаза, — наконец-то добрались! — очень быстро сменялось опасливым выражением: пустят ли в собственную квартиру, не донесут ли? Рассказывали они неохотно, спрашивать боялись. И лишь постепенно втягивались в ту неопределенную, неясную жизнь, которая стала налаживаться в доме с тех пор, как в город перестала доноситься фронтовая пальба. Жизнь эта была по преимуществу кухонная. И не только потому, что в кухне что-то готовили, что эта была единственная комната в квартире, где сохранилось какое-то тепло. Людей вообще тянуло в углы, в каморки. Большие комнаты в квартирах, носившие торжественные названия «гостиная», «спальня», с их паркетными полами, широкими окнами, потеряли свой смысл. Люди ежились в этих просторных комнатах, им было там неуютно и даже страшно. Их тянуло к кухонной печи, слабое тепло в которой поддерживалось не только дровами или углем — дров и угля не хватало, — но и запасами из семейных библиотек. Их тянуло в тесноту — поближе к стенам, поближе к людям. Теперь чаще стали ходить друг к другу, чаще собирались друг у друга. И гостей принимали тоже в кухнях. Впрочем, «принимали» и «гости» — это, конечно, не те слова...

Самым траурным было возвращение тетки Гарика. Тетка еще только прошла через двор, едва поднялась к себе, а все уже поняли — Гайчи погиб.

Подробности смерти Гарика ребята узнали на следующий день. То есть в том-то и дело, что никаких подробностей не было. О жизни Гарика ребята знали сотни подробностей, помнили его остроты, помнили привычки, а вот о смерти узнали немного. Гайчи вместе с двумя другими ополченцами ушел в боевое охранение, а ночью, видимо, на них напоролась немцы, лезшие в разведку. Что там произошло — никто в точности не узнал: поднялась стрельба, наши палили из своих окопов, немцы

ответили из своих. А утром в окопе боевого охранения нашли трех убитых наших бойцов и несколько трупов немецких солдат. Так рассказывала тетка. Еще она говорила, что Гарик был убит не пулей, а ножевым штыком.

Встречаясь с теткой Гайчи во дворе, сталкиваясь с нею в очереди за водой — за водой надо было спускаться почти к самой реке, к источнику, которым не пользовались уже лет пятьдесят, — Сергей вновь и вновь спрашивал ее:

— А когда Гарику винтовку выдали? А что он сказал?

Сергею нужна была легенда. Тетка отвечала ему терпеливо, смотрела на него внимательно, разводила руками. Она не все знала, не все помнила, а придумывать ничего не хотела. Она была правдива. Все они в этой семье были правдивыми и презирали приблизительные рассказы, в которых всегда что-то придумано. И тетка ничем не хотела помочь Сергею. «Не помню, — говорила она. — Да, стрелял. Три выстрела успел сделать — в магазине осталось два патрона... Пожалуй, не трусил. Вполне прилично вел себя».

Со смертью Гарика никак нельзя было свыкнуться, никак нельзя было отнестись к тому, что уже было. Она словно на много лет вперед уходила в жизнь Сергея. До сих пор помимо своей воли Сергей думал о войне как о чем-то ужасном, но случайном и преходящем, что нарушило прочное довоенное течение времени. Рано или поздно война кончится, и время опять потечет, как прежде. И будет оно прямым продолжением того, что прервалось двадцать второго июня. Ребята будут ребятами, взрослые — взрослыми. У ребят будут свои игры, у взрослых — их дела. Конечно, сейчас Сергей повзрослел, но он соглашался повзрослеть только на время войны. Так тяжело быть взрослым...

Сергею стало неловко встречаться с Иваном Лукичом. Ему казалось, что он в чем-то непоправимо виноват перед отцом Гайчи.

5

Почти во всех квартирах теперь стояли немцы. Некоторые переспят ночь и двигаются дальше, другие задерживались. Как ни странно, безопаснее были те немцы, которые задерживались надолго. «Постоянный» немец сам не прочь задобрить хозяев. С «постоянным» немцем у хозяев — невольно и для хозяев и для немцев — налаживались какие-то отношения. Будничные мелочи устанавливали между ними будничные связи.

Сергею запомнились два «постоянных» солдата. Когда первый из них появился на пороге, Сергей сразу же почувствовал что-то необычное. Немец улыбался. Это была широкая, открытая улыбка, улыбка — предложение ответить улыбкой. Она не понравилась Сергею. Ему вообще не нравились немцы, которые — как будто ничего не произошло! — предлагали улыбаться. Ему не нравились красивые и высокие немцы, а этот был красивый и высокий немец.

Наверно, солдат понял Сергея.

— Не немец, — ткнул он себя в грудь. — Австриец, Вена.

И он опять улыбнулся: вот какой сюрприз я тебе преподнес! В коридоре австриец осмотрелся, повесил на массивный латунный крючок большой вешалки свой плащ и фуражку и сказал удовлетворенно:

— Шён! Красиво!

В столовой (она же гостиная, она же Сергеева спальня) австриец попробовал рукой узкую Сергееву кровать и двинулся в спальню отца.

— Я здесь! — показал он Сергею на широкую отцову кровать и заговорщически подмигнул.

Может быть, австриец и правда был рубахой-парнем, может быть, он получил длительный отпуск, но доброжелательность, желание понравиться Сергею так и лезли из него. К кровати австриец придвинул стул, на стул повесил свой китель, на китель — портупею с пистолетом. Заметив жадный взгляд Сергея, он тут же протянул ему пистолет, вытащив предварительно обойму. Пистолет был с тяжелой коричневой рукояткой, с длинным черным стволом.

— «Вальтер», — назвал австриец систему пистолета. — Вальтер, — показал он на себя и захохотал. Это был еще один сюрприз.

Потом он углубил тему, которую начал еще на пороге:

— Не немец, не капиталист. Арбайтер. Рабочий. Электро, — и показал на абажур (лампочки в патроне давно не было).

Рабочий, пролетарий, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — все это в сознании Сергея стояло рядом с тех пор, как он помнил себя. Это был пароль, на который откликалось все его существо. Но на этот раз ничто в Сергее не откликнулось. Слишком у австрийца было хорошее настроение, слишком радостная и легкая походка у него была.

Австриец побрился, причесался, почистил мундир, покрутился перед зеркалом, подмигивая себе и Сергею, застегнул пояс с кобурой и протянул руку за пистолетом.

— Вальтер! — опять пошутил этот немец и засмеялся. — Вальтер!

Он взял пистолет, привычным движением ладони вогнал обойму в рукоятку и, повернувшись к стене — не произошел бы случайный выстрел, — оттянул затвор, ввел патрон в канал ствола.

— Зачем? — спросил Сергей. — Во фюр? — И показал, как австриец заряжает пистолет.

Вальтер подмигнул.

— Шпацирен. Маруся, — Он прошелся по комнате, словно галантно поддерживал какую-то Марусю. Нахмурился. — Партизанен? — Похлопал себя по кобуре. — Пу-пу!

И опять дружелюбно рассмеялся.

Вальтер ушел, а у Сергея еще долго горела ладонь, сжимавшая его пистолет.

Уезжая, Вальтер оставил в пустой сахарнице пять таблеток сахарину.

Второго немца звали Август. Он удивил Сергея знанием русского языка.

— Меня зовут Август, — представился он матери.

Был он нетребователен и предупредителен. Сразу же согласился лечь там, куда указала мать, сам взялся починить поломанный будильник. И починил.

Был он скромн, но очень любопытен. Даже походка у него была присматривающаяся: чуть сутулые, поданные вперед плечи, руки, что-то вечно трогающие, ощупывающие, осматривающие, вытянутая, как у человека, привлеченного чем-то интересным, шея.

— Будем разговаривать, — предложил он Сергею. — Я тебя научу немецкому, ты меня — русскому.

Это было предложение «на равных», и Сергей не стал возражать. Август вообще держался «на равных». У него слишком сильно была развита исследовательская жилка, желание все проверить, все сделать самому. Он жил в мире, который, кажется, нигде не соприкасался с фашизмом, с идеей великой Германии. Даже воинская профессия отделяла его от других солдат — Август был автомехаником.

Сергею он показался серьезным, знающим и понимающим — русский учит, хотя с переводческой работой не связан! — совершенно не похожим на других немцев. Он даже о фашистах, о Гитлере и о гестапо отзывался пренебрежительно. И однажды Сергей рассказал Августу, что он думает о фашистах и о немецкой армии вообще. Август слушал внимательно, иногда возражал (возражал он так: «Фашисты — дерьмо, Гитлер — дерьмо. А кто не дерьмо? Все политики — дерьмо»). С выводами же Сергея Август не согласился.

— Красная Армия разбита, — сказал он. — Она уже не сможет оправиться. Это как по арифметике.

— Подожди! — заволновался Сергей. — Наполеон тоже наступал. Подойдет зима — наши вам покажут.

— У Наполеона не было германской техники, — сказал Август. Он не волновался. Горячность Сергея его не заражала.

И вдруг — они сидели на скамейке во дворе — Август вскочил и вытянулся. Мимо проходил офицер. Август сказал что-то почтительное, потом добавил что-то смущенно и шутливо. Сергей понял основное. «Этот мальчишка, — сказал Август своему офицеру, — говорит, что Красная Армия зимой нас разобьет. Чушь, конечно, но и на такой ерунде можно учиться русскому языку». Сергей похолодел, он ожидал, что сделает офицер. Офицер не ответил Августу, он неопределенно кивнул и ушел.

Август покраснел, когда Сергей назвал его сексотом и объяснил, что означает это слово.

Встречались Сергею и другие немцы, которые не целиком или не сразу сливались с тем ужасным образом немецкой армии, который жил в нем еще со времени первой

бомбежки. Но эти немцы недолго занимали Сергея. Они уезжали на фронт или в другой город и соединялись с немецкой армией, становились теми самыми зелеными солдатами, которые стреляли в безоружных гражданских, убили Максима Федоровича и тех женщин на полуторке, убили беженцев, пленных на вокзале, мальчишек, с которыми хотел бежать Хомик...

6

На третий день после того, как немцы вошли в город, Сергей отправился к Камерштейнам. Он надеялся, что никого уже там не застанет. Это было бы лучше всего. Еще ничего не было по-настоящему известно, но что-то Сергею подсказывало: лучше бы он Камерштейнов не застал дома. Лучше бы они куда-нибудь уехали. Он шел по знакомым улицам и убеждал себя, что такой умный, проницательный дед, как дед Камерштейна, конечно же, должен был забрать своих женщин и уехать еще до того, как на улицах города началась стрельба. Правда, еще, может быть, ничего и не будет (Сергей заходил с ребятами к парню из соседнего дома, Борьке Мондрусу, там бодрились, говорили, что ничего и не может быть), но Сергей не хотел видеть старика Камерштейна вот таким, как Мондрусы, у которых уже все какое-то ненастоящее, которые не замечают, как тяжела их бодрость, как много они говорят о том, что ничего не боятся.

Сергей почти уверил себя. В подвальную комнату по старым узким ступенькам он спускался только затем, чтобы убедиться, что дверь заперта, а может быть, и забита. Он нащупал эту дверь и толкнул ее. Дверь легко поддалась.

— Эй! Кто здесь живет? — еще не теряя надежды, крикнул Сергей.

В дальней комнате зашевелились, отодвинули стул и отозвались:

— Сейчас, сейчас!

Это был голос деда...

Сергею удивились, испугались, а потом обрадовались.

— Жив-здоров, — рассказывал Сергей об Эдике. — Там же не стреляли! Там такая глушь, что стрелять и не будут. А кормили нас здорово. Хлеба давали по такому куску! Эдик только в первые дни съедал все. А потом у него даже оставалось. Честное слово! Беспокоился о вас. Они все там беспокоились, а никто ничего точно сказать не мог, вот я и пришел в город. А их, может быть, эвакуируют. Аннушка говорила, — соврал Сергей, — их увезут в тыл. Они учиться будут. У них год не пропадет. А фрицев выбьют — их привезут назад.

В комнатах у Камерштейнов был страшный раскардаш. Все вещи сдвинуты со своих мест, к столу не подойти, шкаф повернут дверцами к стене. В первой комнате, комнате без окон, шесть или семь кроватей, составленных вплотную, как нары. В коридоре несколько раскладушек и чемоданы, чемоданы, чемоданы...

— Целый месяц у нас с верхних этажей живут, — пояснил дед. — У нас же не квартира — персональное бомбоубежище. Ниже спускаться уже некуда.

Дед был очень оживлен. Сергей никогда не видел его таким подвижным, суетливым, без конца острящим.

— Баба у нас расхворалась, — говорил он. — Но ничего, корью она уже заболеть не может, скарлатиной тоже. Так, какое-нибудь мелкое старческое недомогание! Это быстро проходит.

Сергей увлекся и стал с длиннейшими подробностями рассказывать, как он добирался в город. Как убежал от милиционера, как ехал на волах, а они понесли его, как его чуть не приняли за шпиона. Иногда он спохватывался — не слишком ли заврался? — но дед тотчас же подталкивал его каким-нибудь вопросом. И он снова рассказывал, немного стыдясь своей развязности, смутно чувствуя, что он не должен сейчас говорить о себе, и в то же время понимая, что в чем-то помогает старшему из Камерштейнов. Должен же дед чем-то занять двух своих молчаливых женщин! У него, наверно, даже температура от этого. Недаром он так часто облизывает толстые, необычно яркие губы.

Потом Сергей ушел. Он уходил с облегчением: выполнил свой долг, рассказал об Эдике, поговорил с дедом — и все. Что он еще может сделать? Он, Сергей, пацан, а они взрослые люди...

Несколько дней Сергей не ходил к Камерштейнам и даже старался не очень думать о них. Он пошел к ним, когда прочитал расклеенное на всех углах «Обращение немецкого командования к еврейскому населению». Это было уже не первое обращение. В городе уже появлялась листовка, подписанная немецким комендантом, которая призывала еврейское население хранить спокойствие и не поддаваться провокационным слухам. Призывы хранить спокойствие печатал и «Голос русского патриота». «Голос» сообщал, что германское командование в интересах самого же еврейского населения («чтобы предупредить эксцессы») намерено отделить евреев от остальных горожан, создать в специальном районе города еврейскую общину, члены которой смогут заниматься ремеслами, торговлей и другими общественно полезными делами. Но и в комендантской листовке и в статьях осведомленной газетки речь шла лишь о планах. «Обращение» же было приказом. Приказом спокойно — бояться нечего! — взять из своих вещей наиболее ценные и собраться на отведенных для каждого городского района сборных пунктах. Немецкие машины вывезут собравшихся в тот самый специальный район...

Сергей прочел до конца, он спешил дочитать: может, самое страшное спрятано в конце? Прочел еще раз и почувствовал какое-то тревожное облегчение. Конечно же, невозможное — невозможно! Где-то, может, и были расстрелы. Но ведь «где-то» вообще черт знает что бывает.

И все-таки у него заныло в груди. Он шел к Камерштейнам, и боль в груди усиливалась. Ему опять и опять вспоминались дубовые и в то же время уклончивые, исполненные лукавства фразы из приказа-обращения. Где, например, этот самый специальный район? И почему только самые ценные вещи! А чашки, ложки нужны?

Он хотел рассказать о своих сомнениях проницательному деду Камерштейна, но сбился и лишь предложил Камерштейнам «на пока» поселиться к ним с матерью. Мать сама приглашает. Дед вежливо поблагодарил Сергея и отказался. Он поблагодарил Сергея как равного. Очень уважительно, серьезно и как будто виновато. Вроде бы он и не рассчитывал, что Сергей может быть таким великодушным. Эта виноватость была заметна лишь чуть-чуть, но была она настолько непривычна и необычна, что Сергей ее сразу заметил. Она больно ударила его. Дед не должен был говорить с ним, пацаном, так уважительно, он не мог, не должен был испытывать перед ним какую-то вину.

— Дед, — сказала бабушка, — ты бы отдал Сергею книги Эдика.

Баба еще плохо держалась на ногах, она недавно встала с постели.

— Старый как малый, — сказал о ней дед, — учится ходить.

Он бросился к ней на помощь, когда она двинулась к столику с Тейкиными книгами, каждую из которых Сергей знал так хорошо.

— Зачем же я их возьму? — испугался Сергей. — Эдик сам приедет. Да и вы не вечно же будете не дома, — он с трудом сложил эту фразу.

— Нет, нет, обязательно возьми! Какие Эдик больше любил? Дед, ты знаешь?

— Честное слово, — жалобно сказал Сергей, — это вы напрасно!

— Да, да, — сразу же согласился дед, — старый как малый. Уж если что вобьет себе в голову...

Он извинялся за бабку!

Страшно все запуталось в Тейкином доме. Дед поддерживал Сергея, а Сергей чувствовал, что не должен принимать его поддержку. Но не мог же он взять эти книги! Он же не на похороны сюда пришел!

— Не навечно же вы из дома уходите, — еще раз повторил он.

— Да, да, — сказал дед, — а ты подумала, как он понесет эти книги по городу? Мало того, что он пришел к нам?

— Ну, не все, — сказала баба, — все он не унесет. Но часть же он может взять.

— Э, — ласково сказал дед, — старый что малый!

Потом они упаковывали вещи в чемоданы. От рубашек, платьев, простынь кисло пахло давно не стиранным.

— Дед, — говорила баба, — не забудь и наволочку.

— Ты меня удивляешь, — бодро отзывался дед. — Как я могу забыть эту наволочку?

— Возьми и свои полуботинки, они еще не такие старые. Их можно починить.

— Что бы я делал без тебя! — потрясенно смотрел на бабу дед. — Я бы обязательно забыл эти полуботинки.

Он устало и покорно засовывал в узел старые полуботинки.

Тейкина мать сидела в стороне и смотрела на эту суету расширившимися, без очков огромными глазами. Такие глаза делались у Сергеевой мамы, когда она снимала пенсне. Сергей знал, что такими глазами Тейкина мама ничего не видит. Так, какие-то колеблющиеся пятна. Эти пятна, наверно, но очень отвлекают ее, не мешают ей думать о своем. Она сидит в углу и молчит, а дед говорит и говорит, облизывая свои яркие губы сухим языком, и смотрит на нее и на бабу. Или даже больше на нее, чем на бабу.

— Я вам помогу вынести вещи, — сказал Сергей.

— Нет, нет, мальчик! — сказал дед. — Спасибо, но не надо. Иди. Нам тут надо побыть одним.

— До свидания, — сказал Сергей. — А за Эдика вы не беспокойтесь. Этих гадов все равно скоро разобьют! Не беспокойтесь за Эдика. Он...

— Да, да, мальчик, — сказал дед, — да, да... Ты иди.

Сергей махнул рукой и вышел. Он осторожно в темноте прикрыл за собой дверь и поднялся по ступенькам вверх. Ему показалось, что во дворе его ожидали, что его хотели о чем-то спросить. Но он не остановился.

На улицах, по которым Сергей шел, заметно было встревоженное движение. Город давно ждал этого приказа, предчувствовал его. Еще с того дня, когда немцы вошли в город. Приказа не было, а его все равно ждали. О нем не говорили, а все равно ожидали. Не знали, какой он будет, отмахивались от мыслей о нем, от сообщений «Голоса», а все равно ожидали. Люди говорили: «Ну что вы! Разве это может быть!» И чувствовали — может. И вот теперь изо всех подворотен, из всех уцелевших парадных выходили люди с вещами и шли к сборным пунктам. Мимо одного такого сборного пункта Сергей проходил. Ничего особенного — обыкновенный, мощный мелким камнем двор старого трехэтажного дома, с двумя вонючими мусорными ящиками, с десятком похожих на уборные сарайчиков, с уборной, похожей на сарайчик. Сергей бывал в этом дворе несколько раз: там под железной лестницей работал армянин-сапожник, которому мама иногда давала починять свои и Сергеевы туфли. У входа во двор стоял немец-солдат. Не гестаповец, отметил Сергей. Без винтовки, без автомата. На поясе у него только ножевой штык в черных ножнах. Солдат лениво смотрит на тех, кто заходит во двор, не мешает тем, кто хочет выйти, и вообще ведет себя как посторонний. А люди идут, идут и идут. Заходят во двор и почти не выходят из него. И нет тут конвойных, никого нет.

«А может, все-таки ничего не будет, — думает Сергей. — Может, в приказе правда. Перевезут их в определенный район, и будут они там дожидаться прихода наших. Вот ведь и немец без автомата, и не стережет он никого».

Все-таки Сергей обошел солдата и двор — перебрался на другую сторону улицы. Свернул за угол и услышал яростный женский крик. Где-то совсем не ко времени назревал глупейший бабий скандал.

Рванув дверь парадного, почти вышибив ее, на тротуар выкатилась раскрасневшаяся от крика, тяжело нагруженная, толстая тетка. Она поставила рядом с собой большой чемодан и не поправила, а отмахнулась сильной короткой рукой от седых волос, упавших на лоб из-под сбившегося платка. Вся она была короткая, сильная, легко справляющаяся со своей чрезмерной полнотой, а пот на лбу и красные пятна по щекам говорили не об усталости, а о ярости. — Пусть вам наша смерть, — кричала она кому-то, кто прятался в доме, — станет поперек горла! Вы хотели нам смерти! Вам нужны наши кастрюли! — Она уперла руки в бедра и кричала, чтобы слышала вся улица. — Берите! Все берите! И кастрюли, и ложки, и Симочкино пальто! Вы этого хотели!

Сергей шарахнулся, попав под ее ненавидящий, слепой взгляд.

— Смотрите и радуйтесь! — кричала тетка. — Мы уходим! Мы уходим!

Она еще что-то кричала. Проклинала какую-то Феньку, и ее мужа Павла, и их бандита сына, которые теперь могут радоваться, а у Сергея звенело в ушах: «Мы уходим!» Его обжигал слепой от ненависти взгляд. Теперь он точно знал — их убьют. Вот эта тетка точно знала — их убьют. Он ведь и сам знал, что их убьют. Он знал это еще в тот день, когда они с Хомиком пробирались на фронт мимо застреленных

гражданских. И даже еще раньше — когда попал под первую бомбежку. Он не думал тогда об этом, но знание это родилось тогда, и потом оно все время подтверждалось: и когда убили Мекса, и когда по городу шли немецкие войска, и когда он смотрел на немецкие машины, на солдатскую серо-зеленую форму, на конвоира, стрелявшего в пленных, и даже когда он разговаривал с австрийцем Вальтером и изучающим русский язык автомехаником Августом. У него тогда не было ни в чем сомнений, а вот этот идиотский, насквозь понятный приказ заставил его усомниться, как последнего дурака или последнего подлеца.

Сергей бросился назад, к дому Камерштейнов. Он спешил. Он готовил убедительные, самые убедительные слова.

Камерштейнов дома уже не было. Сергей побежал к сборному пункту, куда они должны были явиться. Он нашел этот пункт во дворе собственной школы! На противоположной стороне улицы стояла редкая, готовая каждую минуту рассыпаться толпа. Сергей затесался в толпу.

— Уже вывозили? — спросил он у мальчишки лет пятнадцати.

— Уже, — кивнул тот.

— А зайти туда можно? Ты не пробовал?

— Туда — можно. Обратно — нельзя. Вон стоит, — указал мальчишка на солдата. — Пока машины не подошли, пускал и туда и обратно. А теперь не выпускает. А у тебя там знакомые?

— Знакомые.

— У меня тоже.

Сергей все-таки отделился от толпы. Он перешел через трамвайные пути и старался заглянуть в полуоткрытые ворота. Но ничего не увидел — солдат закрывал собою неширокую щель. Сергей поднимался на цыпочки, придвигался поближе и вдруг услышал:

— Юда?

Сергей обмер, когда понял, что солдат спрашивал его.

— Ком гер! — приказал солдат.

Сергей попятился и побежал.

Уже к вечеру город знал — их убили.

Ночью Сергей не мог заснуть. Едва он начинал дремать, на него наваливался кошмар. Толстая, пышущая жизнью, энергичная тетка со слепыми, лишенными глаз глазницами отбрасывает со лба седые волосы и кричит: «Мы уходим! Мы уходим!» «Юда?» — спрашивает Сергея солдат и хватает его за руку. «Я не юда!» — кричит Сергей и чувствует спасительное и почему-то нечистое облегчение оттого, что страшные пальцы, сжимавшие его руку, разжимаются. Он бежит, делает огромные скачки. Немцы не преследуют его, а он все равно чего-то боится. И тут он неожиданно сталкивается с дедом Камерштейна и сразу понимает, чего боится. Ему страшно оттого, что дед Камерштейна мог слышать, как он, Сергей, кричал солдату: «Я не юда!» Сергей вглядывается в бледное, повернутое в профиль к нему лицо деда и старается понять: слышал он или не слышал? А дед говорит виновато: «Как мальчик понесет эти книги? Его же увидят в городе с еврейскими вещами...»

Сергей вскидывается на кровати и долго лежит без сна. Его нестерпимо мучает вопрос, на который нет ответа. Зачем они шли? Зачем? Почему? Без охраны, без конвоя... А если бы немцы прямо написали, что всех убьют, — и тогда бы тоже пошли? Неужели только жалкий, глупый, ничтожный обман завлек в ловушку тысячи и тысячи?

Почему, глядя на зверя, человек никак не поймет, что перед ним зверь? Почему он все ждет чего-то?

Ну зачем они сами шли?

7

Недели через полторы в дверь Сергеевой квартиры постучал Эдик Камерштейн. Ему не нужно было ничего рассказывать. Он уже был дома, или, вернее, в доме, где раньше жил. Толкнулся в запертую дверь, зажег спичку и прочел приклеенную к двери табличку. «Конфисковано. Еврейская квартира». Наверно, ему надо было бы сразу бежать, но Тейка пошел к соседям. Его приняли и с плачем и причитаниями

рассказали все. Тейка не плакал. Он даже не стал прятаться. Разыскал дворовых приятелей, разговаривал с ними, выходил на улицу, показывался десяткам людей, знавших его. Тейка не мог *охватить*. До него *не доходило*. Переночевал он у соседей и только на следующий день догадался уйти из дома.

— На всякий случай, — сказал он. — Твоя мать разрешит мне переночевать у вас?

— Спрашиваешь! — сказал Сергей. — У нас и кровать есть незанятая, отцовская. Я на ней все время спал, а теперь ты будешь спать.

— Да я ненадолго, — сказал Тейка.

— Почему? — возмутился Сергей.

— Так, — сказал Тейка.

Он вместе с Сергеем обошел всю квартиру, равнодушно выслушал суетливый рассказ Сергея об изменениях, которые за это время произошли в комнатах (много книг сожгли в печке вместо дров; цветы выкинули — все они засохли: воды из реки или из источника на поливку не наносишься; платяной шкаф уже полупустой — отцовские вещи пошли на рынок; паркет давно не натирался, мастика с него слезла, мать теперь вытирает его мокрой тряпкой; стекла целы только во вторых рамах, — когда-то, еще летом, мать вынула рамы и снесла их в подвал, и это спасло стекла). Потом очень коротко Тейка рассказал о себе. В сущности, Тейка был еще очень «свеженьким». Месяц назад их вывезли из колхоза на машине, посадили на поезд, высаживали на каких-то станциях, опять везли. И, как Аннушка ни старалась, половина ребят за это время разбрелась. «Есть было нечего», — пояснил Тейка. Дольше всех около Аннушки держались Тейка и Френкель. А потом ехать было уже некуда — немцы перерезали железную дорогу. Несколько дней Тейка, Аба и Аннушка жили в школе хутора, забытого немцами, и разошлись: Аннушка с Абой пошли на восток, а Тейка решил вернуться к своим и больше недели добирался с другими беженцами в город.

— Как же Аннушка тебя отпустила? — спросил Сергей.

— Она не отпускала, — сказал Тейка. — Она говорила: «Ты мне стал как сын».

— А Гришка Кудюков?

— Гришка? Воровал...

И Тейка рассказал, как в поезде Гришка воровал у эвакуированных хлеб, консервы, вообще все, что можно было есть или обменять на еду. Один раз он попался, его хотели бить, но Аннушка не дала, отстояла. Гришка смылся на какой-то станции. И Слона с собой увел.

Немцев Тейка почти не видел, больше по дороге сталкивался с полициями. Собаки они, конечно, но Тейка от них ничего хорошего и не ожидал.

Бомбежку он тоже не видел. Убитых тоже. Раза два был налет на эшелон, в котором они ехали, но все в общем обошлось благополучно.

— Вот хорошо, что ты тогда не пошел со мной, — сказал Сергей. — Судьба, наверно. Знаешь, теперь все какие-то суеверные стали! И я не то чтобы суеверный, а вроде бы немного и суеверный. Под бомбежкой лежишь — ни о чем не думаешь, а бомбежка кончится — начинают разные мысли в голову приходиться. А тут еще сны дурацкие ночью снятся. Раньше редко-редко когда сон приснится, а тут что ни ночь, то сон. Я, знаешь, когда в первую бомбежку попал? — и Сергей рассказал Тейке о первой бомбежке, и о том, как с ребятами ходил по горящему городу, и о том, как увидел застреленных беженцев, как с Хомиком сидел за баррикадой, как погибли Сиротин и Мекс.

Тейка слушал внимательно и не очень внимательно. Верил и как будто не верил. Что-то мешало ему по-настоящему понять Сергея. Немного больше месяца разделяло их. Сергей пережил бомбежку, видел бой, немцев передовых и тыловых частей, Тейка — отступление, колонны беженцев, полицаяев. Их опыт соприкасался и вроде бы не соприкасался. Во всяком случае, Тейка чего-то не мог или не хотел понять. И эта непонятливость грозила ему страшной бедой. Сергей это остро чувствовал. У него никогда не было власти над Тейкой, Эдик всегда был главным в их дружбе, а сейчас он как никогда замыкался в себе.

— Что ты думаешь делать? — спросил Сергей.

— Не знаю еще, — сказал Тейка. — Может, разыщу могилу. Потом, может, к коменданту схожу.

— Ты с ума сошел!

— Почему?

— Но ведь...

— Я думал об этом. Но я же наполовину немец.

Сергей пожал плечами. Он не поверил. Он и не мог бы поверить, потому что не мог *охватить* ход Тейкиных мыслей.

Пришла мать. Сергей не успел ее предупредить, она увидела Эдика, всплеснула руками, ушла в спальню плакать и вообще вела себя, по мнению Сергея, крайне нетактично.

— Мама, — сказал Сергей, когда мать успокоилась, — Эдик поживет у нас.

— Да, да... — сказала мама.

— Ты знаешь, что он надумал? Собирается идти к немецкому коменданту.

— Зачем?

— Спроси его.

— Я еще не собираюсь, — смутился Тейка. — Я просто так сказал. Может быть.

Эдик прожил у Сергея три дня. Иногда он куда-то уходил «по своим делам», и Сергей боялся: а вдруг он отправился к коменданту и больше не вернется? Временами Тейка замыкался, и его нельзя было расшевелить никаким вопросом. И все же эти дни были для Сергея освещены отблеском счастья. Тейка всегда заставлял Сергея вспоминать о тех ласковых словах, которыми мама когда-то наполнила его.

Теперь они жили вместе. Вместе вставали, вместе умывались, вместе сидели по вечерам на кухне и смотрели на пляшущий дымный огонек над аптечным пузырьком с керосином, вместе ложились спать и оба подолгу не могли сомкнуть глаз.

— У нас на чердаке, — шептал Сергей, — два ящика мин, ручные гранаты, тол, а у стены с диким виноградом винтовка закопана. И на берегу, в одном месте, карабин. Тот самый. Не веришь? Завтра у Хомика спросишь. Если бы Сявон не уехал, мы бы уже партизанский отряд организовали. Помнишь Сявона? Я тебе про него рассказывал. Да ты его сам видел. Вот парень! Он на полтора года старше меня, но не в этом дело... У него недавно сестренка умерла, а мать чуть не тронулась. А может, тронулась. Мины мы все равно пустим в дело. Мы уже договорились с ребятами. Сейчас нельзя — за одного убитого немца пятьдесят наших расстреливают. На углу Нольной и Котельной нашли убитого немца, так вывели всех из углового дома — и детей, и женщин, и стариков — и прямо на улице постреляли. И кто мимо проходил. Всех до одного! Представляешь: идешь мимо, ничего не знаешь, дома тебя ждут, а тут цап — и пулю в лоб... А наши поднапрут — мы тут под шумок немцам по затылку...

Сергей вздыхал.

— Только иногда не могу я ждать. Просто не могу! Хочется бежать на чердак, схватить все мины и бросать, бросать, а потом зубами, ногами — всем! Ничего не страшно. Вот в меня будут стрелять — не страшно. Ничего, понимаешь? Только ненависть. Ненавижу!

Он ворочался на кровати.

— Ну почему они такие гады, ты понимаешь? В самом начале войны кто-то рассказывал: упадет на фронте бомба и не разорвется, вскроют ее, а там записка: «Чем можем, тем поможем». Будто немецкие рабочие написали. Не верю я сейчас в такие записки... Ты спишь, Тейка? Нет? Вот я тебе говорил про Сагесу. Он думает устроиться к немцам на железную дорогу, поближе к поездам, чтобы крушения легче было устраивать. Это он так думает. И сомневается. А вдруг ни одного крушения не удастся устроить, а потом наши не поверят, зачем он на работу к немцам поступал? Как ты думаешь?

По стенам комнаты, в которой они лежали, проползали отсветы автомобильных фар. Это были отсветы немецких автомобильных фар. Иногда под окнами гулко отпечатывались на асфальте чьи-то твердые шаги. Это были шаги немцев.

И если на улице звучала чья-то речь, то это тоже была немецкая речь.

На третий день вечером Тейка вернулся взволнованный и впервые, не дожидаясь вопроса Сергея, заговорил:

— Видел Гришку Кудюкова.

Тейка бродил сегодня возле городской тюрьмы, стоял в толпе у ворот — там всегда дежурит толпа человек в сорок-пятьдесят. Немцы разгонят, а люди потихоньку опять собираются. Кто-то тронул его за плечо. Оглянулся — Гришка.

«А я слышал, вас всех расстреляли». Громко говорит — люди оглядываются. Тейка стал выбираться из толпы — Гришка за ним: «Не бойся, я тебя не выдам».

— А что потом?

— Машина подошла. Знаешь, такая открытая. Немцы спрашивают, как проехать на мясокомбинат. Гришка говорит: «Пойдем, сигарет дадут». Я не пошел, а он: «Мне по дороге». Немцы ему показали на подножку, он стал и уехал, — Тейка замялся. — Знаешь, что Гришка мне сказал? Есть объявление: тем, кто укрывает евреев, — расстрел.

Утром Тейка сказал:

— Я пойду к коменданту.

Из дома они вышли вместе. Через каждые пять шагов Сергей забегал вперед и загораживал Тейке дорогу.

— Ты соображаешь, что ты делаешь? — Сергей был ошеломлен, — И все из-за этого подлеца Гришки?!

— Соображаю.

— Нет, ты подумай еще раз! Потом спохватишься — поздно будет.

— Я должен пойти.

— Вот и немцы так думают!

Тейка молчал. Они шли рядом еще несколько метров, и опять Сергей загораживал дорогу.

— Я тебе не рассказывал: немцы обманули всех... И твоих тоже. Написали, что переселят в специальный район. И все пошли сами. Понял? Без конвоя, без никого. А потом уже их взяли под конвой. А у них было время. Вот и у тебя есть время, а потом его не будет.

Тейка смотрел в сторону. Он слушал и смотрел в сторону, как Сергей, когда отец читал ему нотацию. И Сергей видел и понимал это.

Они двинулись дальше, и Сергей опять лихорадочно искал убедительные слова. Он не понимал Тейку. Но при этом он знал, почему он его не понимал. Если бы у Сергея застрелили мать, деда и бабушку, он тоже, может быть, шел бы сейчас их дорогой, дорогой Тейки. И что бы разумное ему ни говорили, он все равно бы никого не слушал. Вот так было с Сявоновой матерью. Славкин отец целый день ее уговаривал, и все думали, что он уговорит ее, а он не уговорил.

— Ты понимаешь, что ты делаешь?! — схватил Сергей Эдика за плечи. — Передумывать у тебя не будет времени!

— Но ведь я наполовину немец.

— Да ты их не знаешь!

— У меня и в метрике записано.

— Ты дурак! Ты дурак! Вот кто ты!

— Пусты, — сказал Тейка.

— Ладно, — сказал Сергей, — но один день ты можешь подождать? Поживи еще один день, а потом иди, и я тебе ничего не скажу.

— Я уже три дня думал.

Они стояли на площади перед комендатурой. Это была самая большая площадь в городе. До войны здесь всегда проходили первомайские и ноябрьские парады и демонстрации. Театр, облицованный белыми мраморными плитами — с начала войны его закрывала гигантская маскировочная сеть — был изображен на всех фотографиях с видом города. Под Новый год на этой площади выстраивался ряд сказочно разрисованных лотков школьного базара, поднималась огромная, с корабельную мачту, елка. С этой площадью у Сергея и Тейки было связано много воспоминаний — здесь они, например, учились кататься на велосипеде...

Сергей надеялся, что эти воспоминания помогут ему остановить Тейку. Но Тейку уже было нельзя остановить.

— Ну хорошо, — сказал Сергей, — я тебя здесь жду. Но ты хоть напирай на то, что ты немец.

Комендатура, а рядом и гестапо располагались в новых домах напротив театра. Этим домам было всего года два-три. Они стояли в ряду других таких же новых домов, которые здесь строились по плану генеральной реконструкции города. По этому плану центр города переносился на Театральную площадь, откуда должен был начинаться величественный спуск к реке. Станешь на площади — и до самой реки перед тобой

террасами цветники, широкие лестницы, что-то черноморско-курортное, только еще более грандиозное. Об этом плане много писали в областной газете, рисунки, отражающие будущее архитектурное великолепие, помещались в специальных витринах перед горкомом и горисполкомом...

Сейчас фасад театра был закопчен, маскировочная сеть свисала с крыши лохмотьями. Сквозь огромные оконные проемы видны искореженные огнем металлические балки, стальная арматура. Дома напротив театра тоже повреждены, так что вход в комендатуру скромно запрятался среди боковых подъездов.

Сергей видел, как Тейка вошел в этот подъезд и скрылся в нем.

Чтобы не привлекать внимания часового у комендатуры, Сергей отошел подальше и приготовился ждать. Тейка возмущал Сергея, возмущал своим эгоизмом. Это не дружески — думать только о себе, страдать только за себя. Тейка должен был учитывать не только свои чувства, но и чувства Сергея.

Первые тридцать минут Сергей ждал, не очень паникуя. Потом он уже не ждал, а просто ходил напротив комендатуры. Ждать уже нечего, но и уйти нельзя. Потом он опять начинал ждать, прикидывал возможные задержки: большая очередь, нет коменданта...

Эдик вышел часа через полтора. Сергей даже не поверил сразу собственным глазам, но Тейка кивнул ему, и Сергей бросился навстречу:

— Ну что?

— Ничего особенного. Спросили, кем я хочу быть — немцем или евреем.

— Ну?

— Я сказал: «Конечно, немцем».

Тейка замолчал. Сергей чего-то не понимал:

— Да ты подробней расскажи! Вот ты вошел...

— Ну, вошел. Там меня какой-то тип спросил, к кому я.

— Русский?

— Как будто русский. Ну, я сказал.

— А он?

— Сказал, чтобы подождал. Ну, я ждал. Потом меня зовут.

— К коменданту?

— К коменданту. А может, и нет. Офицер, в общем. Переводчица сидит, спрашивает, кто я такой. Я говорю: так и так, родители, то есть мать, дед и бабка, расстреляны, а мне что делать? Она ему переводит, а он смотрит на меня. Потом сам говорит по-русски: «Дай метрику». Я положил на стол. Он читал-читал, дал переводчице. Потом они что-то говорили между собой. «Сам пришел?» — спрашивает. Я говорю: «Сам». Он засмеялся и спрашивает: «Кем ты хочешь быть — евреем или немцем?»

— Ну?

— Я говорю: «Конечно, немцем».

— Молодец, — неуверенно сказал Сергей. — А он что?

— Засмеялся. «Но, — говорит, — лучше все-таки уходи из города. Я, — говорит, — ни за что поручиться не могу».

— Да, — сказал Сергей, — так ты ему и сказал: «Конечно, немцем»? А что же он хотел, чтобы ты сказал: «Конечно, евреем»?

Тейка молчал.

— Ты был бы настоящим идиотом, если бы сказал «конечно, евреем». Такого идиота нельзя было бы найти в целом свете.

Тейка шел молча.

— Кокнули бы тебя просто-напросто — и все. И никто бы не знал. Им что человека убить, что муху прихлопнуть. Ты только не поддавайся.

— Я не поддаюсь, — и Тейка заплакал.

— Вот сволочь, еще спрашивает, кем хочешь быть! На идиота, что ли, напал? Я ж тебе говорил, помнишь? Напирай на то, что ты немец.

— Я завтра утром уйду, — сказал Тейка. Он плакал, а лицо его не менялось, не морщилось жалобно.

— В деревню? Успеешь еще. Кто знает, что ты у меня живешь? В нашем доме только одна настоящая сволочь есть. Но она тебя, по-моему, еще не видела. А Гришка этот... Надо было его тогда утопить!.. А кроме — никто не донесет.

— Я на фронт уйду.
— На фронт?
Тейка кивнул.
— Как же ты уйдешь? Это же черт знает сколько километров! И фронт переходить надо. И по дороге поймают. Подожди, здесь немцев бить начнем.
— Я завтра уйду.
— Вообще-то правильно, — примирительно сказал Сергей, — с самого начала надо было так. А ты какого-то черта к немцам полез!
— Не знаю, — сказал Тейка. — Я завтра ухожу.
— Ну вот, опять ты заладил: завтра, завтра! Что ж, и подождать нельзя?
— Я не могу ждать.
— Слушай, тебя же в армию все равно не возьмут. Перейдешь на ту сторону — это если уцелеешь, — тебя сразу и отправят куда-нибудь в тыл. Опять картошку копать. И все. Тут у нас больше шансов. Честно.
— Я завтра ухожу.

8

Ночью Сергей перебрался на кровать к Тейке:
— Тейка, ты не спишь?
Эдик не спал.
— Я решил идти с тобой. Вместе пойдем на фронт. Всегда вместе, да? Может, нас возьмут воспитанниками? Может, мы с тобой найдем того самого Валю, да?
Это было самым большим признанием в любви, которое за всю их дружбу сделал Сергей Тейке. И Камерштейн принял этот подарок.
— Рязан! — сказал Камерштейн. — Ласточка!
И Сергей почувствовал, как Тейка смутился. Сергей больше всего любил Тейку, когда он так смущался.
Они шептались еще с полчаса, и все эти полчаса Сергей был счастлив. Неважно, что его и Тейку впереди ожидают бог знает какие опасности. Страх перед ними впереди, его нечего вызывать раньше времени. Зато они теперь вдвоем. Сергей верит в свою звезду. Ведь судьба, или что-то там вместо нее, уже имела столько случаев расправиться с ним и не расправилась. И у Тейки, несомненно, счастливая звезда. Его должны были расстрелять вместе с родными, а не расстреляли: Тейка, как знал, не пошел тогда с Сергеем в город. И комендант отнесся к нему с необычайным благожелательством, — надоело ему, что ли, в тот день убивать или Тейка сумел даже коменданта заставить вспомнить, что и у него свои дети есть? Тейка, конечно, не так удачлив, как Сергей, но Сергей и идет с ним, чтобы поделиться своим счастьем, своей удачливостью. Ну а опасности — что? Слишком велики они, чтобы о них сейчас думать! Начни подробно думать — еще откажешься от своего решения. Об опасностях надо будет думать, когда они станут возникать. Не раньше.
— Будем идти на восток и на восток.
— Ага.
— Спросят: «Куда?» — «На менку! Жрать в городе нечего».
— Или скажем: «Эвакуированные. С дороги сбились». Зачем раньше времени думать об опасности? Думай не думай — все равно ничего заранее не угадаешь. Да и что могут знать об этом такие пацаны, как они?
— Что бы ты сделал с Гитлером, если бы он попал в твои руки?
— Я бы...
— Я бы его сразу не убивал. Я бы ему...
Они шептались и, как когда-то, спешили перебить друг друга согласными: «И я!»
Спешили узнать, что оба думают одинаково. И опять к горлу Сергея подступали ласковые слова, которыми когда-то называла его мама, опять они звенели в нем, опять он чувствовал в Тейке такого же доброго, мягкого человека, как и он сам, — человека, в котором также много мягких, ласковых слов.
Утром они ушли, засунув в мешочек с перловкой — мама откроет его среди дня — такую записку: «Мама, мы ушли на фронт, чтобы воевать против кровавых немецких захватчиков. Мы не можем иначе. Прости нас и не беспокойся, мы будем очень осторожны. Записку уничтожь!!!»

Они недалеко ушли — попали в большую облаву. До утра их и еще человек сто женщин, мужчин, подростков продержали во дворе какого-то склада. Утром задержанным сообщили, что на железнодорожной станции была совершена диверсия, что, однако, диверсантов немецкой военной жандармерии удалось поймать, а мину, которую они подложили, вовремя обезвредить. Поэтому арестованных заложников не расстреляют, как было решено вначале, а всех, начиная с пятнадцатилетнего возраста, отправят на работу в Германию.

Здесь же во дворе, в небольшой конторке, арестованным была наскоро устроена медицинская проверка. Сергей смотрел на плачущих женщин, на испуганных мужчин и, как тогда, перед сборным пунктом евреев, испытывал подобие нечистого облегчения. Сергею удивительно везло. Тогда он мог сказать солдату, что он не еврей, теперь он скажет, что ему еще нет пятнадцати.

— Раздевайся! — говорил переводчик всем, кто подходил к столу. — Раздевайся! — сказал он Сергею.

— Мне четырнадцать лет, — бледнея, сказал Сергей.

Переводчик грозно взглянул на него.

— Фирцейн яре.

Переводчик не поверил. Сергей это сразу почувствовал. Врач поднял брови, что-то резко приказал.

— Раздевайся! — заревел переводчик. — Нашел где заливать!

— Но мне четырнадцать!

— Длинный, но тонкий, — сказал с сомнением по-немецки врачу какой-то чин.

Сергей понял его и без перевода, потому что от его слов потянуло надеждой.

Его заставили раздеться. Врач, брезгливо морщась — белье Сергея было несвежим, — оглядел его и махнул рукой. И Сергея, визжащего, сопротивляющегося, униженного брезгливой гримасой немца, толкнули к толпе угрюмых отобранных. Там уже набралась партия для одного вагона, и конвоиры повели людей на станцию, которая находилась всего метрах в двухстах.

С Тейкой Сергею не удалось связаться. Сергей лез в вагон последним, высовывался из двери, пока его чуть не прижали этой самой дверью. Вагон закрыли наглухо.

9

В вагоне тревожно ожидали конечной остановки.

И вот ночью эшелон остановился, и без секунды перерыва кто-то, озлобленный до крайности, подбежал к дверям вагона и бешено заорал:

— Алле раус! Алле раус! Ферфлюхте, русише швайне!

Откатывались вагонные двери, а тот, озлобленный, уже не кричал, а рычал, задыхаясь от ненависти. В темноте кричащего не было видно, а голос его звучал в десятке мест: «Раус! Раус! Фауле хунд!» И оттого, что ненависть эта никем не была вызвана, оттого, что это была *чистая* ненависть, становилось особенно жутко.

Шел мелкий дождь, сгущавший темноту, усиливавший озноб, сумятицу. Мимо выстроившихся русских прошли солдаты-охранники. Они сдали эшелон полицейским и теперь могли отправляться в отпуск. Прошел тот самый фельдфебель, который напоминал Сергею отца. Фельдфебель шел рядом с человеком в черном плаще, освещал ему дорогу сильным карманным фонариком, и смеялся, и что-то объяснял. Фельдфебель сдавал свои дела.

Часа полтора русских держали на перроне под дождем. Строили, считали и били. Били бестолково, первых попавшихся под руку, ни за что. Но били яростно и ругались, хрипя от злобы и ненависти. Потом погнали куда-то в скользкую, неизвестную темноту.

Несколько раз голову колонны сминали идущие впереди полицейские. Тогда вся колонна останавливалась, ряды ломались, каждый старался втиснуться в середину, а полицейские начинали работать резиновыми палками. Казалось бы, собственное бешенство, незатухающий ужас толпы, темнота должны были бы ослепить полицейских, сделать их на время невменяемыми. Но, едва колонна вновь трогалась, Сергей слышал веселые или буднично-озабоченные, ничуть не возбужденные перекликающиеся немецкие голоса. Это просто были «мастера своего дела».

Сколько времени они шли, топтались на месте, спасаясь от дубинок, Сергей уже не представлял себе. Ему удалось протиснуться в середину колонны. То, что их стали загонять в какие-то ворота, Сергей почувствовал по тому, как сжалась с боков колонна, протискиваясь в узкое горло прохода. Потом их загоняли в большой барак. В бараке горел тусклый синий свет, и в этом кладбищенском свете Сергей разглядел сотни голов, сотни вытянутых шей — людей запрессовывали, им нечем было дышать. Барак набили до отказа, дверь не закрывалась — мешали человеческие тела. Полицейские навалились на дверь, захлопнули ее. Но тут же опять открыли. И опять:

— Алле раус!

— Раус! Раус!

— Дезинфекция!

И еще одно хлесткое, как удар резиновой палкой, словечко:

— Лос! Лос!

Ко всему этому надо было бы подготовиться, собраться с силами. Но собраться, вспомнить не было ни времени, ни сил.

Появляется переводчик и начинает с ругани по-немецки: сразу же показывает этому «русскому сброду», что будет иметь с ним дело по необходимости. Потом он все-таки переходит на русский и отпускает шуточки:

— Ну, вшивая команда, сейчас вашим вшам капут!

В баню из раздевалки гонят мимо двух тазов с едкой жидкостью. Около тазов двое полураздетых полицейских с резиновыми палками.

— Быстро, быстро!

Бьют каждого — и того, кто все делает правильно, и того, кто с опаской или слишком медленно мажет себя жидкостью.

— Быстро, быстро! Грязные свиньи!

Русский язык звучит здесь так же враждебно, так же бьет, как и немецкий.

Человек тридцать выстраиваются под душевыми ячейками. Кому-то ячейки не хватило, он прижимается к голому соседу, но его выгоняют немцы и остервенело избивают дубинками.

Потом сверху, в клубах пара, на головы и плечи голых людей обрушивается почти кипящая вода.

— Стоять на месте, грязные свиньи!

10

В лагере раздают баланду. Первую в жизни Сергея баланду. Баланду надо получать бегом. К большому металлическому баку-термосу очередь продвигается трусцой. Пожилой полицейский орудует большим половником на деревянной ручке. Раз! — взболтнет содержимое котла. Раз! — хлюпнет баланду в подставленную миску. Мешкающих бьет тем же половником.

Получив баланду, тоже нужно бежать. Во всяком случае, первые десять шагов. Потом можно перейти на резвый шаг, забраться в барак и там, присев на скамейку около стены — в этом бараке нет ни нар, ни столов, — съесть баланду, держа миску на коленях.

Надо отвлечься от всех мыслей и сосредоточиться только на получении баланды. Иначе будет плохо. Сергею удастся сосредоточиться.

Получив баланду, он несколько шагов пробегает легкой рысцой. И вдруг вздрагивает — человек, идущий перед ним, неожиданно останавливается, и баланда из миски Сергея немного выплескивается ему на край пальто.

— Извини, — говорит Сергей.

— Я тебя, сука, извиню! — отзывается потерпевший.

Дальше они объясняются на ходу.

— Я тебе ноги перебью, — обещает облитый. Облитому лет пятнадцать-шестнадцать. Впрочем, по лицу можно дать и девятнадцать, и двадцать пять, но уж слишком он невысок и некрепок. Сергей заметил его еще в эшелоне. Этот парень и еще пять-шесть парней разного возраста всегда держались вместе. От остальных русских их отличала постоянная жизнерадостность и какая-то могучая жизнедеятельность. У парней была своя цель. Эта цель существовала вне зависимости от того, куда немцы вели эшелон, вне зависимости от войны, от крови, которая лилась

на фронтах: парни хотели быть сытыми во что бы то ни стало. И еще у них было тщеславие. Они хотели, чтобы их боялись. И добивались этого тоже вне зависимости от того, куда немцы вели эшелон. Сергей сразу понял этих парней потому, что давно ненавидел их. Он прекрасно знал их психологию — это была психология Гришки Кудюкова.

Тот парень, которого Сергей облил, не получал баланды. Миска его была пуста. Это был шик, который могли себе позволить несколько человек на весь многотысячный лагерь. Парень не нуждался в баланде. И он хотел, чтобы это видели все. Он даже пошел на риск: полицейский мог бы не понять его и не одобрить. Но, должно быть, у парня уже были какие-то дела и с полицейскими. Кое-кого из блатной компании Сергей уже видел дружески беседующими с переводчиком.

В эшелоне парии тоже заигрывали с немцами, а своих грабили, а иногда и били.

В бараке Сергей нашел свободное место у стены. Едва парень, с которым он столкнулся, исчез с его глаз, Сергей тотчас же забыл о нем. Сергея давила тоска, о которой сегодня никому ничего нельзя рассказать. Сегодня ее по-настоящему не может представить себе даже тот, кто когда-то ее испытал.

Тоска помешала Сергею вовремя заметить опасность, которая надвигалась на него. К нему подошел облитый.

— Вытри! — сказал он.

Сергей смотрел не понимая.

— Вытри!

Парень размахнулся и ударил Сергея по щеке. Он ударил не так, как бьют, начиная драку и готовясь встретить сопротивление. Он ударил, как ударил бы полицейский.

Сергей вскочил. Миска с баландой грохнулась на пол. А вслед за ней полетел парень, сшибленный Сергеем с ног. Но потом парень поднялся и бил Сергея, сколько хотел, потому что Сергея держали друзья облитого, которых тот предусмотрительно привел с собой.

Когда Сергея отпустили, он сплюнул кровь и сказал:

— Фашистское дерьмо!

Эту сволочь он ненавидел не меньше, чем немцев.

Четвертое утро подряд Сергея избивают резиновыми палками. Когда в лагере распределяли на работу, он встал в строй к группе пятнадцатилетних.

Полицейский, осматривавший строй, поманил его к себе.

— Эй, — сказал он, — ланге, ком гор.

— Длинный, выходи, — перевел переводчик.

Каждый день русские расчищают большой пустырь, таскают огромные деревянные щиты — стандартные части сборных барачков, копают ямы под железобетонные столбы ограды. Столбы изогнуты, как хоккейные клюшки, и закапываются они так, чтобы «клюшка» смотрела внутрь лагерной площадки. Потом на столбы натягивается колючая проволока.

На исходе сорок первый год. Германия строится.